

Книгоиздательство „ПАРМА“.



*К. Ѳ. ЖАКОВЪ.*



# ИЗЪ ЖИЗНИ И ФАНТАЗИИ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Тип. училища глухонѣмыхъ (М. Аленевой), Мойка, 54.

1907.

К. Жаков

## Из жизни и фантазии

«Предлагаемый сборник рассказов явился плодом „ума холодных наблюдений и сердца горестных замет“, как попытка воспроизвести безумие жизни и мудрость бытия, диссонансы житейских событий и гармонию во Вселенной».

\*\*\*

Устаревшие буквы (ять и др.) удалены или заменены;  
написание некоторых слов изменено на современное.

# Содержание

Несколько слов от автора . . . . .	0005
I . . . . .	0007
На берегу Днепра . . . . .	0007
Дневник безумного . . . . .	0032
Неблагонадежный . . . . .	0054
Придаш . . . . .	0076
Дорогое счастье . . . . .	0087
II . . . . .	0105
Венулитто . . . . .	0105
Ей Морт Мили-Кили . . . . .	0130
Звуки природы . . . . .	0148
Самоед Неве-Хеге . . . . .	0154

**К. Жаков**  
**Из жизни и фантазии**

# Несколько слов от автора

Предлагаемый сборник рассказов явился плодом «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет», как попытка воспроизвести безумие жизни и мудрость бытия, диссонансы житейских событий и гармонию во Вселенной. Противоречия взволновали душу, созерцание «сказки бытия» успокоило сердце. Стремление вдаль, неудержимое, неутомимое влечение к бесконечному спасет человека.

Слабовольный философ — бродяга Назарьев («На берегу Днепра») гибнет жертвою жизни, повиснув между двумя безднами: жаждой истинной красоты и гнетом безжалостной житейской прозы.

«Безумный» (В «Дневнике Безумного») спасается, приспособившись к жизни, женщиною притянутый к земле.

Феофил же («Дорогое счастье») успокаивается найдя «в конечном Бесконечное» и мирно сливается с природой, победив житейские волны.

В этих рассказах — *борьба с жизнью, под-*

чинение ей и победа над ней. Постепенно освобождаясь от условностей и давления действительности, появляются Венулитто и Мили-Кили — простецы, победившие не только обычную жизнь, но и обычный разум, обычную мораль, обычное (общепринятое) искусство: «Бессознательное премудро».

«Неве-хеге» последняя жизнь на земле, после чего начинается новая жизнь иных существ на новой планете, ибо за пределами этой земли лежит Беспредельное.

*К. Жаков.*

*1907 г. Февраль.*

## На берегу Днепра



**И**ван Степанович Назарьев жил в Киеве. Он был «без места и занятий», хотя в нем было ума палата и он имел диплом филологического факультета Московского Университета.

Я с ним познакомился совершенно случайно. Раз шел я в столовую и встретил человека, весьма плохо одетого, который обратился ко мне с вопросом: «вы люди»?

— Да, сказал я.

— Нет, я вам не верю, с живостью возразил человек. Я сейчас встретил студента, попросил у него двадцать коп. на хлеб и чай, и он послал меня к чорту. Неужели вы люди?

— Что ж, пойдете я вас угощу чаем.

Мы зашли в ближайший трактир.

Мой новый знакомый был не кто иной, как Иван Степанович Назарьев, о чем он сооб-

щил очень отчетливо, причем показал свой диплом.

Мы сели в угол и заказали чаю.

— Люди измельчали, сказал мой собеседник, занимаются пустяками.... сердце их очерствело.

— Про кого вы это говорите, Иван Степанович?

— Да про студентов, профессоров также. Возьмем напр. вас, филологов. Вы чем занимаетесь? Психологией у профессора Васильева? Толкуете, где материя, там и душа; неужели в печке есть душа? А? скажите, ради Бога. Как вам не стыдно? Были философы, Огюст Конт, Герберт Спенсер, а теперь чему вас учат?

Там еще другой у вас есть, профессор Геронтьев. Как-то он сидит на бульваре, я подхожу к нему и спрашиваю; «что мол, из чего построен мир, профессор философии»?

Из идей Платона, он мне ответил. А каково?

И, отшатнувшись от стола, Назарьев нервно захохотал. — Философы?!

— А о нравственности вашей я уж не гово-



рю, продолжал он, нищезянцы вы все, последователи сверхчеловека.... Что такое добро и зло, вы не знаете, вы в потьмах ходите... Соловьев написал «Оправдание добра», вы не читаете, вам нужно новое, оригинальное...

— Но вы, робко прервал я Назарьева, такой интеллигентный и развитый человек... как же вы?

— Понимаю ваш вопрос, сказал он, и гордая усмешка прошла по его лицу.... — Не спешите, молодой человек, узнать мою жизнь, нет, все вы так, напоили чаем золоторотца и сейчас же за это хотите душу его узнать, подождите немного.

— Вот вы, опять прервал его, чтобы загладить дурное впечатление, о философии говорите, какая же система по-вашему верная?

— Моя, громко сказал он.

Атомы — сущность вещей, думающие иначе — дураки... Но число атомов ограничено в природе.

— Неужели, по-вашему, мир конечен?

— Да.

— Я с вами не согласен.

— Мне это совершенно все равно, согласны

вы или нет. (В мире существует все, а все нечто определенное, значит оно конечно).

Я Назарьеву стал возражать, он повышал свой голос. Я за ним. Мы на первый раз рассорились, и, не допив чаю, ушли из трактира. Я ушел направо, а Назарьев с гордостью направился налево. Через два дня мы снова встретились...

— Ну, что? истина горька? Не можете выносить, что мир конечен. Терпи, сказал мне он.

— Да, делать нечего, ответил я ему.

На этот раз мы с ним пошли чай пить на край города; по дороге я мог внимательнее осмотреть своего нового знакомого. Он был среднего роста и довольно плотен, хотя в плечах не широк. Лицо угловатое, нос довольно большой, рыжая борода и жесткие волосы — все это напоминало «предпринимателя», мелкого торговца, но смелого, самоуверенного и удачного. Походка Назарьева была «крутая», как и речь его. «Удивительно, думалось мне, что при такой наружности он однако имел душу неудачного философа».

На краю города мы вошли в грязную чай-

ную. Там народу было много; здесь всегда собирался рабочий люд с окраин. Хозяин, человек высокого роста, внимательно осмотрел нас обоих из-за прилавка. Мы сели за чай. Назарьев заметил, что костюм его производит неприятное впечатление на публику и пришел в гневный экстаз: захотел показать всем «самого себя». Когда уж мы пили чай, он спросил меня.

— Как ты думаешь, по какой линии движется земля?

Я был удивлен элементарностью вопроса и звучностью голоса, каким он был предложен.

— По эллипсу, ответил я.

Назарьев, взглянув на публику, сказал — дурак!

Я был в студенческой форме. «Оборванец учит студента», у всех промелькнула мысль, и многие прислушались к нашему разговору.

— Конечно, не совсем правильный эллипс, тут притяжение планет, оправдывался я.

— Дурак! Гремел Иван Степанович.

— Как же иначе. Это же и в астрономии так.

— Дураки вы все, студенты и....

— Не ругайтесь же, вы скажите, по какой линии движется земля....

— Земля движется по винтовой линии.

— Как же это так?

— Вот так, вдохновлялся мой собеседник.

Близко стоящая публика была удивлена его мудростью и громким голосом. Сам высокий хозяин из за прилавка взглянул на него с должным уважением.

— Вот так, говорил Назарьев. Солнце движется или нет?

— Да.

— То-то вот и есть. Земля вокруг солнца, а оно вперед. Что будет, умники? Громогласно закончил аккорд своей мысли мой вдохновенный философ.

После этого случая наше знакомство стало теснее.

Много у нас было споров с ним. Часто мы садились за обед искреннейшими друзьями, но, подняв философский вопрос и не согласившись в принципах о сущности вещей, расходились, не дотронувшись до пищи. Все же мы были большие друзья и не раз вели чисто-сердечные разговоры о беге жизни.

Раз Назарьев пришел ко мне пред обедом и заявил, что сегодня у нас будет прощальная беседа. Я наскоро оделся и собрался с ним за город, в пригородный, уютный трактир, чтобы там всей душой предаться искреннейшей беседе. В предчувствии интимных, тайных мыслей мы спустились по светлому бульвару, усаженному стройными тополями, к окраине города.

Перед нами расстилался синий горизонт. У подножья города длинное предместье тянулось по житомирскому тракту.

По ней извозчики ехали туда и сюда, стада коров шли по краю дороги, за ними свиньи куда-то бежали.

Далее за предместьем зеленый холм возвышался, на нем белая церковь, далее леса, за лесом в голубой дали окрестные деревни. Мы спустились и пошли по песчаной дороге, то и дело встречая хохлушек в их белых, украшенных пестрыми, яркими узорами, костюмах. Назарьев молчал, я наблюдал за ним. Уж близко назначенное место. Вон — оно! Маленький, деревянный домик с вывеской, приятной нам, «Чайная». Зашли и сели в отдален-

ный угол.

Народу здесь всегда было мало. Только два-три чумака с кнутами в широких шароварах и в высоких шапках столпились, у прилавка и что-то рассуждали с рыжебородым хозяином.

Назарьев сел за стол, потрянул головою; приподнял нос и, как бы понюхав воздух и оставшись им доволен, он сказал:

— Да-с, прощай, еду, уезжаю навеки из этого города, чтобы более не возвращаться в него.

Я опешил. Я всего ждал, только не этого.

— Что вы, Иван Степанович?

— Да-с, решено. Судьба грустная моя... слеза показалась на глазах Назарьева, потекла по морщинистой щеке и застряла в рыжей бороде его.

— Я не выскажу глубокой, сердечной раны, которую нанесла мне жизнь, и что заставляет меня идти на край света, куда-нибудь в степи...

Я этого не выскажу, это не имеет мирового значения... Но мысли, мысли мои должен оставить я для людей... Расскажу тебе, а ты

передай им...

Он остановился и задумался.

Я, удивленный, смотрел на него, не зная, что думать, но ожидая нечто редкое, глубоко интересное. Вот он опять поднял голову, тряхнул кудрями.

— Да, не все ли равно? произнес он: я или кто-другой открыл великие мысли, лишь бы они были известны миру... Я передам тебе, а ты возвещай миру.

Человек нам принес чаю. Мы выпили по чашке. Взглянули в окно на песчаную улицу, по которой шли стада коров. По другой стороне улицы возвышались красивые дома с садами, а вверху было дивное, голубое небо.

«Так, слушай. Первая часть моей философии — принципы.

Это все, что видишь ты, атомы и ничто более. Как гимназисту 1-го класса не понятно, как можно провести окружность через три точки, так не понятно вам, как из атомов возникает душа. Но не смущайтесь. Однако истина состоит в этом, что я сказал. Атомы, все атомы... Я проникся этой, истиной до глубины души». Так начал Назарьев. Вдохновение

сменялось в нем с умилением и слезы текли обильно из глаз. «Милые атомы мои, пусть моя жизнь страдание, я кроток сердцем, ибо ничего нет во Вселенной!..

Конечно одна группа атомов (об этом не скажу я тебе) изранила мое сердце, и я уезжаю отсюда навеки... Но истина пребывает в своей красоте»...

Он плакал и заразил меня (и я тоже залился слезами), и мы пили чай, смешанный с горькою слезою.

«Друг мой, говорил он, не удалось написать мне истины мои! Но пусть ты передашь их. Разрежь Вселенную на две части своим умом и пойми, что нет свободы воли, нет духов, одни святые атомы пребывают в своей красоте»...

Долго Назарьев говорил вдохновенно о своих принципах; потом перешел к приложениям их, к истории, к жизни человека. Солнце мира уже близилось к закату, когда воскликнул мой философ последнее слово: «прогресс — гармония атомов»!

Умиленные вышли мы на улицу и, глядя на небо, высказали свои клятвы о вечной



дружбе. Над нами дышало бесконечное пространство, в котором рассеяны были атомы; число же их было конечно, как говорил Назарьев.

Обнявшись в последний раз, глубоко расстроганные, расстались мы и пошли в разные стороны: я зашагал к городу, а Назарьев бодро направился в даль степей по житомирскому тракту.

Прошло три дня. Назарьев не выходил у меня из ума. Какое глубокое горе заставило его уйти из города? Зачем он отправился в степи и что он там будет делать? Эти вопросы я задавал себе непрерывно, но они оставались без ответа.

В грустном и тревожном настроении духа отправился я на четвертый день в обсерваторию. В беседе с астрономом думал я облегчить свою душу. День был солнечный, и время уже перешло за полдень. Поднимаюсь на холм, где обсерватория, подхожу к воротам. Гляжу — налево от них на зеленом лугу чья-то рыжая борода греется на солнце. Видно, там какой-нибудь гражданин мира улегся и спит у стен обсерватории, на самой высокой

точке Киева. Я любопытствовал и подошел к человеку. Смотрю — лежит Иван Степанович Назарьев лицом кверху в лучах палящего солнца: он был мертвецки пьян.

\* \* \*

Через несколько дней мы снова встретились с Иваном Степановичем.

— Я не отправился в степи. Что там делать? Я предпочел уйти в царство небытия, в царства тумана.

— Да, я вас видел на самой высокой точке Киева. Вы бороду грели на солнце.

Он весело захохотал.

— Жизнь — сказка и весело мне в природе. Смотри, какое синее небо, гляди, гляди, а?

При этих словах сильно жестикулировал Назарьев, и мне было неловко. Мы были на многолюдной улице в полуденное время. Городовой на нас так и глядел в оба. На этот раз Иван Степанович, как и всегда, был очень плохо одет; какая-то ермолка на голове, на плечах пиджак в пятьдесят дыр, на ногах опорки, брюки коротенькия (до колен). На мне тоже был плохой сюртучок (вероятно, много поколений студентов уже носили его),

и оба-то мы машем руками посреди улицы.

— А небо-то, небо-то, а? Ты гляди, гляди? Повторял все Иван Степанович.

— Слушай, Иван Степанович, сказал я: — я человек своеобразный, а ты оригинальный в высшей степени, представь, какая картина получается от нас двух, когда мы вместе.

— Да, да, сказал он, захохотавши — мы оригиналы.

— Когда поодиночке мы идем, продолжал я, и то на нас обращают большое внимание, а когда мы вместе, рассуди, что должны испытывать люди?

— Да, да, ха-ха-ха, мы удивительные люди, говорил он и хохотал crescendo, а я удалялся от него.

Увидавши это, он разразился громом хохота, упал на тротуар; прижимая живот обеими руками, он катался по мостовой. Кто на него смотрел, все захохотали, заразившись силою веселья. Сам городской, смеясь, подходил к нему. А Назарьев посылал мне воздушные поцелуи, вставал на ноги и снова падал на камни (тротуар), «ха-ха!.. два оригинала»... Он мне махал платком и со страстью обнимал

землю. Гремучий смех его раздавался до другой улицы, где я исчез за углом...

\* \* \*

На другой день рано пришел ко мне Назарьев, и мы отправились с ним гулять на Мамаеву гору. Отсюда прекрасный вид на город. В утренних, лучах сияли бесчисленные кресты церквей, блистали красиво сады и дома. Город был у наших ног и весь на виду (на куполообразных холмах). Мы сели у крутизны и ноги свесили над глубоким обрывом. Утро было так прекрасно и город так богато украшен, что нам грустно стало, нам захотелось умереть, беспомощным людям в столь светлом мире.

— Песня уж моя спета, сказал задумчиво Назарьев, глядя на город: это я знаю, вот почему пришла пора начать мне исповедь сердца под этим небом на этой горе.

Я стал — само внимание.

Жизнь сердца человека всегда тайна и всегда манит к себе наш взор.

— Да, я люблю, начал он, или, вернее, любил, потому что песня уж моя спета. Там, в той части города, внизу у Днепра, живет ан-

гел небесный в виде девушки. Я люблю ее больше жизни; она дочь негодяя, и жених ее подлец... Она в аду...

Слезы выступили опять на глазах моего друга, и он не мог говорить. Он взял из кармана склянку и выпил жизненной влаги, и на несколько минут, задумался. Потом вскочил на ноги, сжал кулаки и, угрожая городу, сказал; «нет, собаки! Я отниму у вас ее, моего ангела! Нет, нет! Так не останется. Я убью вас...»

— Полноте, не волнуйтесь, Иван Степанович. Давайте расскажите, да сообразим сообщца.

— Негодяи! Говорил он, садясь опять над обрывом: я расскажу, конечно. Ты должен знать и эту сторону моей души. Она — дочь трактирщика, как, я уже говорил (положим, еще не говорил). Познакомился с ней случайно. Бродя по свету, я зашел в их трактир, и увидел синие глаза, вот как эти цветочки, волосы, как белый лен, шея, как мрамор. Это дочь-то трактирщика, а? Как ты думаешь, что это за явление биологическое? Конечно, я стал ходить каждый день в это питейное заведение, и глядел, и заглядывался. Она за при-

лавком стоит, иногда тихонько улыбнется, а я гляжу все... Херувим ты мой! Единый луч, упавший с неба, чтобы вывести меня из грязи!..

Я стал водки меньше пить, даже хотел одеться лучше, да было не на что, да подумал, что и ни к чему, «она должна полюбить такого, каков я есмь».

Она чаще и чаще, яснее мне улыбалась, заглядывала в мой угол, где я пью чай или пиво. Я стал приносить ей книги: Тургенева, кажется, Гончарова. Вот тут-то и начали на меня коситься отец-бурбон и приказчик жених. Я возымел желание просвещать ее, видишь. Я ведь свет!..

А Господи! Впрочем, ни к чему все эти возгласы: все течение атомов, милых друзей моих.

Только пойдем отсюда, друг мой, больно уж ярко, пойдем куда-нибудь, где потемнее... Пойдем — к людям.

И он повел меня на самую грязную улицу, в самую грязную чайную.

Там было много рабочих, в красных рубашках, в фартуках, краснощекие. Они громко

разговаривали, еще громче смеялись, пили чай с белым хлебом. «Вот жизнь, вот люди», сказал Назарьев. И нам веселее стало; кроме того, Назарьев глотнул из «склянки», без этого он не мог жить.

— Вон эта толпа, она не понимает таких, глубоких чувств, какие в душе моей гнездятся; но земля им принадлежит (много, много их), они пойдут по нашим костям, пиная их и смеясь... Вон такой же краснощекий приказчик, жених моего «херувима», и отец выдаст ее... Что должен чувствовать я, а? Скажи? Что должен чувствовать я?

Нет, я убью его! я оскандалю их всех... да, да!

— Да, нет Иван Степанович, расскажите, может быть, можно помочь.

— Нет, нет. Помочь нельзя тут, смерть. Смерть — единственный исход.

Это я сделаю, но сегодня расскажу тебе.

В это время рабочие с шумом встали и вышли толпой из чайной.

— Сипаи! Загремел им вслед Иван Степанович: они, они прошли по благородному Дон-кихоту, помнишь, их было шестьсот

штук.

Да, им принадлежит земля и «она», херувим мой, им.

И слезы вновь закапали в чашку Назарьева.

— Как же она относится, херувим-то ваш к своей и к вашей судьбе?

— Она! о дивное дитя мое! Она — небесная лазурь, да что? Чище лазури душа ее. Я ей написал письмо и звал к Собору Владимира ночью на свидание.....

— Неужели, да?

— Да. Вот в таких же опорках я был и в дырявом пиджаке. Она ко мне пришла, ночью одна, шурша шелком и бархатом.....

Пришла! о дорогая моя! и грела меня полою шубы (то было зимой), я на груди ее руки грел.... Солнце восходило в моей жизни. Я сказал ей: «оставь душный дом отца твоего и иди ко мне!»! Она мне ответила, лаская меня и вздыхая: «у тебя нет квартиры, сокровище мое».

— Я найду, я буду служить....

— О, если бы это сбылось, сказала она, взглянув на крест собора: но мать говорит



мне, проклиная меня за мое знакомство с тобою, что ты непробудный, Что ты неисправимый. — И она заплакала...

А я встал на колени и клятву произнес. «С завтрашнего дня я буду искать службу, чтобы вылечить сердце, зажженное невинною слезою». — «Что ты на меня так глядишь»? Вдруг гневно обратился ко мне Иван Степанович, так что я вздрогнул: «дураки вы все! Ты и все твои профессора. Чего глядишь? Сипаи! Свобода воли, честное слово! Неисправимые дураки! Неужели я хуже вас? Увы! в системе мира, в движении атомов, нет выбора, нет разума, нет, нет, нет... Поймите вы это все! Ты-то хоть пойми, и не гляди на меня так»...

— Да что вы, Иван Степанович, Господь с вами. Я на вас гляжу, с глубоким удивлением, не более...

Между тем он опять глотнул из склянки.

«Скучно мне убивать вас всех, вас много... Я лучше с собою покончу, впрочем и это не стоит, природа сама справится»....

И Назарьев задумался.

В это время вошли трое каких-то молодчиков в чайную и задели Назарьева локтем. Он

встал, выпрямился, тряхнул головою и пересел на другой стул. «Нет, я на людей не сержусь, нет, я люблю мир, и все живущее в нем».

— Конечно так, я думаю и «там» можно будет устроить.

— «Там», нет. Когда отец узнал, что она ходит на свидания, запер ее в холодный чулан, на хлеб и на воду, а половым велел гнать меня метлою от дверей его заведения. Вот что вышло. А с приказчиком дело повел, как можно, скорее... «Девка дурит, надо ее замуж», он твердил своей жене.

— Ну так что ж? Мы ее похитим, сказал я, лишь бы она была согласна.

— Я ей написал письмо, что от водки отстать не могу, пока она не будет моею, и что службы еще не нашел, потому что на другой же день, поссорившись со студентами о психологии, напился вдребезги пьян, а с урока меня прогнали за то, что я по-своему объяснил волосность из физики, я допустил, что атомы имеют крючки, оттого и поднимаются, а притяжение — это чистый вздор... Учитель же физики поставил единицу моему ученику,

мне и отказали.

— Она что же на это письмо?

— Ответила, что не может быть моею, пока я не исправлюсь... Она, чистая невинная душа, думает, что это возможно без нее... Милая! Это невозможно без твоего небесного влияния!.. И я погибну в конец.

И он опять тряхнул головою: «но мысли мои ты передай миру».

— После этого вы видели ее или нет, Иван Степанович?

— Видел. На другой же день после ее ответа, я пошел к ним под окно и, увидавши ее неземное личико, вынул из кармана сороковушку и выпил на ее глазах всю ее, сидя на тротуаре. Вот как, потому что в мире все наоборот тому, что думают, ваши профессора, сказал он с гневом.

— Ах, Иван Степанович!

— Да, любезный, купи-ко мне сейчас влагу живую: под сердцем тошно... Ее больше не увижу я, это я знаю, она больше на меня не глядит. Как то в экипаже она ехала с приказчиком, я упал на колени, она отвернулась, и меня покрыло грязью от колес.

Уж поздно ночью вышли мы с Иваном Степановичем из чайной.

Украинская ночь нежилась над Киевом. Яркие и крупные звезды сияли там в вышине.

— Посмотри, посмотри на эти звезды, и душа перестанет скорбеть. Когда я смотрю на эти звезды, душа моя очищается от всего земного. И тогда мне бывает легко, легко. Что из того, что даром прожил я свою жизнь, что ни в одной науке не успел я, ни в поэзии, что оказался поэтом в философии, и философом в поэзии, что редакторы всех газет и журналов возвращали мои юные творения, что с ума сошел я, думая о науках и путях в ней, что ни к чему не способен я, что болен мозгом и сердцем, что потоптан людьми, оскорблен в своих идеалах, в своих чистых чувствах, что боятся меня и стыдятся хорошие люди, что сам не верю себе, наконец, и никакому моему началу не даю цены, знаю, что ничего не будет, — пусть, все это пустяки, раз вечное небо над нами, раз Орион блещет нам в глаза и Вега белизной блистает, раз...

Тут пошатнулся Назарьев и упал на ка-

мень. Я в испуге подбежал к нему. Он бормотал про себя, не будучи в состоянии подняться: «пусть, пусть, милые, милые».

\* \* \*

Тут несколько дней мы не видались с Иваном Степановичем. Только я как-то шел на урок и увидал возле забора в одной глухой улице спящего человека. «Не он ли это?» подумал я. Подошел, смотрю — он, Назарьев. Весь синий лежал он, головою к канаве, ногами к забору. «Боже мой! он умирает!» «Надо как-нибудь вывести его из этого состояния». Я поднял его голову, стал тереть ему пальцами виски. Долго я копался около него (совершенно впрочем не зная, что надо делать в этих случаях).

— Иван Степанович, вставай, голубчик, опохмелься!

Он молчал. Неужели он не проснется? Неужели человек хуже травы: трава и та поднимается, после того, как сомнут ее...

— Иван Степанович! Вставай, ради Бога! Ты еще не сказал мне некоторых мыслей, есть недочет в составленной философской системе, голубчик!

Он молчал. Я готов был разрыдаться. В это время какой-то мужчина проходил мимо меня, на его руках был краснощекий мальчик; женщина шла за ними и с любовью глядела на ребенка, на ее лице было удовлетворение жизнью и гордость исполненного долга. «Несчастные!» думалось мне: «когда кругом вопль и смерть в мире, они, улыбаясь, идут своей дорогою мимо умирающих. Нет никого на земле несчастнее человека!» Мужчина с ребенком и женщина удалились. Я опять стал хлопотать около Назарьева. Тер виски, кричал извозчика, рылся в кармане, не нащупывая там ничего, кроме двух старых пуговиц. Кругом безлюдно было. Ничто не действовало.

Солнце зашло. Звезды показались на небе. Тоска сжимала мне сердце. Разве кого позвать? Дворника? Тот пойдет в полицию... Протокол... Бог с ними, не справлюсь ли один. Я стал прислушиваться, дышит или нет Иван Степанович. Не знаю, не могу определить.

— Ах, друг мой! Да уж ты не отравился ли? Неужели так можно напиться?

— Что вы там делаете, студент? раздался

позади меня мужской грубый голос. Я оглянулся: предо мной стоял обход.

— Да вот человек пьян, хочу разбудить его.

Полицейские подошли.

— Да умер он, он холоден.

Они живо распорядились, дали свисток. Дворник прибежал, потом извозчик откуда то взялся.

— В склеп Николая за городом, знаешь?

— Как, в мертвецкую? Я не позволю.

— Мы тебя не спрашиваем. Ты с нами пойдешь, в участок.

Тоска душила меня. «Ничего нет в мире. Умер, друг и не стало его, и не будет никогда!..

Дух мира, живущий там за звездами, молчит.

Железные законы мира давят все живое. Бесконечная пустыня... пески, на котором рассыпаны временем человеческие кости...

Ужасный мороз эгоизма, культуры, нервной жизни заледенил все источники живые».

Меня привели в участок и посадили до «начальства» в маленькую комнатку с каменными сводами.

Что же было дальше?

Неужели умер Иван Степанович, неужели более он не проснулся? Нет! Его похоронили у дубового леса. Цветочки выросли на его могиле. Шум дубравы — надгробная песня его. Звезды небесные шлют свет и радость на его могилу.

Что ж? вечна природа и вечны тайны Ее.

Жизнь — сказка, люди — дети.

Кругом непонятные речи в шуме ветра, в всплеске волн, в красоте млечного пути, дуги небесной, и в безмолвии Бесконечности.

## Дневник безумного



**19\*\* Сентябрь.**

Милая моя! Пишу тебе и для тебя. Когда-нибудь — ты прочтешь, знаю я это. Я верю в родство душ и в Дацюова, когда-нибудь я увижу лицо, туман пока покрывает его и непережитое еще время... Да, итак пишу тебе. Грустно мне среди людей. Я ищу новых звуков, я окружен духами, поющими свои песни, а —



люди... для них я безумец. Безумец, безумец!  
Живу я теперь в гор. Н..., учителем словесности судьба меня поставила. Ораторствую я, что говорить, довольно свободно. О любви, говорю, о соединении душ здесь на земле и там на небе! Аудитория в безмолвии меня слушает. Муха пролетит — слышно все... А приятные, румяные девушки сидят и пьют сладкие слова мои. Изящно одетые они, как весенний букет предо мною! Сегодня толковал я о Жуковском им. — Эсхин и Теон... О символы великие! друг мой... Теон — это я! Только ты не в гробе... Где-нибудь ты в южном городе, на берегу синего моря, может быть сейчас глядишь на огненный блеск заката, отразившегося в волнах моря и мечтаешь обо мне... Δαίμων мне говорит так...

Классная дама слушала со вниманием «новое слово» о поэзии и любви... Я начал так: «вот вы идете по улице в летнее время. Синее небо над вами, и благодатное солнце. Белые облака бегут караванами. Вы смотрите на белорунные небесные стада, и душа ваша млеет, вы чувствуете красоту — это первый луч любви, первое слово Теона».

Когда я так говорил, ученицы замерли, а классная дама вышла куда-то, должно быть, слёзы умиления не дали ей досидеть...

Я продолжал: «вы идёте вечерней порою по берегу реки. Солнце уже зашло, умолкло пение птиц. Вы смотрите на вечернюю зарю, и слышите звуки чуткою душою... Новые звуки, не возвещенные ещё поэтами миру, эти звуки идут из глубины души, неизъясненной никем, они из сущности мира идут... О если бы поэты выплакали нам свое горе в этих новых звуках... Дайте и дайте их мне! Жизни возвышенной дайте мне... Вот что значит первый луч любви, на что дал намек, слабый намек великий Жуковский в Эсхине и Теоне»... Звонок тут прервал мой урок... Завтра продолжу я мои речи и мои мольбы к тебе, несравненная!

**5-го Сентября.**

Снова к тебе обращаюсь, отдаленный и, быть может, несуществующий друг!

Тяжко мне жить и никто меня не понимает. Сейчас сижу в своей комнате, мой брат Василий в соседней зале, он играет в карты с приятелями.

Он — следователь и чиновник, он земной человек. Сплетни, карты, флирт — вот его занятия, а если что скажу ему — убирайся, юродивый! вот что от него услышу. Надо бы от него уехать, да жаль отцовского дома, к которому я так привык и сроднился душой...

Сегодня после классной дамы вошла начальница на мой урок... Я начал разговор при мертвом молчании и внимании моих прекрасных учениц. Беседа шла о Руссо. «Великий писатель был Жан-Жак Руссо! Он учил о временах давно-минувших, когда правда жила на земле... О болезненная культура, обветшала, глубокие язвы твои раскрыл он!»

Что такое культура наша? такой вопрос поставил я, ответил на него... Но начальница, гордая Мария Андреевна, прервала меня: «нет, нет, ученицы, не все принимайте, что он говорит, многое не так, многое условно, наша культура не так плоха». И гордо взглянув на меня, вышла из класса...

Вот какое мое положение! Одиночество чувствую в глубине души моей! И знаю, класс распадется теперь на две части... Но буду бороться я!

**1 °Сентября.**

Несколько раз гулял с гимназистками. Я образовал свой кружок из почитательниц моих. На улице ко мне подходят и разговаривают о лучах поэзии. Я им указываю на звезды. «Глаза мировой любви». Указываю на серебристые струи в реке — тихое волнение сердца мира. Шум берез в аллеях — отдельные, тихие нотки земной арфы. Вот луна показалась из-за домов, желтокрасная, нежносияющая — мечта мировой души...

\* \* \*

В клубе были мы. Все танцевали с благословения начальницы и классных дам. Но трое, любимейшие ученицы мои, пришли ко мне в отдельную комнату и я заговорил «о ложном свете мира», но классные дамы пришли и увели их, сверкнув на меня злобными глазами.

На другой день был жаркий спор между мной и начальницей. «Что вы это, беспорядок вносите в нашу гимназию! Я это не потерплю!»

Ох! Вижу сам, что безумен... Безумец! Безумец!

Милая моя! О если бы ты существовала?! Ты научила бы, как жить на свете... Один не вынесу я безумия моего...

### **15 Сентября...**

На сегодняшней вечер пригласил я к себе ученицу Давыдову, чтобы просмотреть «конспект» ее завтрашнего пробного урока. И что же, слышу звонок, отворяю двери и вижу лицо пожилой дамы...

«Я мать гимназистки Давыдовой, прошу никогда не приглашать мою дочь к себе на квартиру. Это безобразие. Завтра пойду жаловаться начальнице... Как вам не стыдно, вы в одной рубашке (я был в русской рубашке)». Все это высказав грозно, захлопнула дверями и ушла...

Завтра опять в гимназии головомойка мне и смех, и смех, и смех!

Δαίμων говорит мне, что тут не уживусь я...

\* \* \*

Сосцы мира! где вы? спрашивал Гете... Лучи мира, что же не вливаете вы света во мрак души моей? Темно и тихо там! О если бы звуки раздались в глубине сердца... Звуки, звуки, неслыханные доселе. Звуки великой ду-

ши, спеленанной слабыми нервами, слова вечно юного духа, запертого в исстаревшееся тело земли! О как я стар, о как я молод, как я мудр, и как безумен я!

\* \* \*

Звуки лютни мне снятся, серебристые тоны... Аккорды золотые... С отдаленного моря долетают они по синим волнам, на своде небесном они отразились и в сердце проникли мое... Вот я слышу, слышу их!.. Безумец, слышу их... Звуки лютни дивной... Волшебная дева играет в мрачном замке на берегу моря... Душа ее трепещет, сквозь мрак тоски она чувствует отдаленный просвет... Другого духа чувствует она... Где-то, где-то во Вселенной, но где? На земле, или на небе... Она не знает, и жаркие слезы льются по ее ланитам...

Безумец, безумец...

**2 °Сентября.**

Осмеян я, опозорен, унижен, на меня жалобу написали в округ, что «декадент я». Брат меня ругает... «Баба ты, мальчишка дряхлый, ты няньки ищешь, до семнадцати лет тебя нянька одевала и раздевала, ты беспомощен, жалок, ленив... Я уеду от тебя... Весь город над

тобою смеется... Все царство насмешишь ты. Каждый день несет тысячи анекдотов... Дурак!»...

Я молчал, ничего не ответил ему, хотя мог бы сказать. «Тупица ты, мог бы сказать ему, зубрением девятилетним кончил гимназию, скот, лентяй, льстец, набитый дурак, сын целовальницы и слабохарактерного дворянина», но ничего не сказал я, и ничего не скажу. Пусть... Он брат, его родители — мои родители, хотя душа моя не от них родилась, нет, нет, не от них... Она откуда не знаю, но не из глины она, душа у каждого идет из бездны и в бездну погружается, воспев песню свою. Ничего конечно не знаю, я не философ, но Δαίμων так говорит, он, он... Его я слушаюсь...

### **1 Октябрь...**

И гимназистки меня уже не все любят. Часть меня не слушает. Многие куда-то уходят с урока, записав мои слова... Передают начальнице каждый вздох... Опутан я сетями. Ох, телом опутан я, безумием искалечен я, дряхлостью в юные годы мои, слабоволием... Декаденты! идите сюда! Вечерний вы свет, закат поэзии... Вы зарождение поэзии ночи, ти-

хо мерцающих звезд, чуть рисующегося млечного пути, неуловимых изгибов сердца, сердца мира... Вы предрассветные Лучи будущего солнца поэзии... да, но умру я!..

### **Март.**

Ревизор приехал. Лиса имя ему. Все пронюхал, все разузнал, кроме истины. Мелким бесом подошла к нему Мария Андреевна. «Об одном прошу, уберите его от нас, житья не стало,» шепчет она, и плачет, и молит, и ломает руки. Что устоит против хитрой женщины? Лиса могла бы, но не захочет. «Да, он какой-то декадент, придется уволить его отсюда, но до весны оставим». Сколько объяснений, сколько разговоров! А директор Дмитриев потерял голову, только одно твердит: «говорил я вам, говорил я вам, они шутить не любят»...

Δαίμων посоветовал мне поступить в политический союз преподавателей, и вот все молодые учительницы теперь на моей стороне. «Как, он наш!» А раньше меня упрекали они, «что наш Петров, на его уроках ни такого, ни эдакого.» А теперь я в их союзе. Ревизора фалангой окружили учительницы. «За что вы



его, за что вы его, его вы изводите».

Ревизор, хитро улыбаясь, отвечает, «я оставлю его, оставлю, успокойтесь». «Как оставлю? Безвинного человека? скажите, что сам остается он? Скажите, иначе мы не выпустим вас». Старую лису прижали молодые девы... Времена бурные — что делать? Лиса улыбнулась, видя свое безвыходное положение «хорошо, хорошо, будет по-вашему, он остается, он остается»...

Уф! Господи! Пойду на балкон отдохнуть. Кажется, буря в стакане улеглась... Какой вечер дивный... Вот сонный город предо мною! Вон облака, освященные волшебными лучами Дианы. Она тихо скользит, богиня, не слышною стопою по волнам эфира.

О если бы выросли крылья у меня, полетел бы я туда, в воздушное царство, в эти таинственные ущелья между облаками. Может быть там и тебя встретил бы я, моя несравненная Элоиза! О человек, до сих пор ты не научился летать по воздуху... Погибли вы герои, Пилатр де Розье и Роман, дивная госпожа Бланшар и ты мужественный Гаррис, вы все хитроумные смельчаки погибли вы в воздуш-

ном океане... И ты, Лилиенталь, превратившийся было в механическую птицу, северный викинг — Андре с полюса не вернулся... О сколько вас, смелые дети природы!.. Неужели никогда не летать нам по воздуху, неужели не доказать бессмертия духа, не освободиться от жалкой нищеты, и ползания, неужели, неужели...

Δαίμων, утешь, мою душу, в чем превосходство человека пред прочими тварями земли? В слезах, в звуках дивных, безысходном горе, в песне, в новой песне... В неизъяснимых мечтах...

### **Май.**

Экзамены мои прошли. Окружный инспектор Д., черный, тучный, благодушный человек, остался доволен познаниями учениц. «Только говорит о Жуковском чересчур много, а о Гоголе чересчур мало прошли. Да, затем говорит, мало самостоятельности выказали ученицы. Сочинение писали все на один лад. Все написали про Пушкина, что он кудесник». «Кудесник да кудесник» твердил мой директор Дмитриев... Ох, что делать? Хоть что-нибудь-то написали. Изъели меня, изъ-

ели классные дамы, интриги, сплетни, начальницы, инспектора да окружные... Нервы вытянули мои!

Куда бежать, отсюда, куда бежать... где тот блаженный остров, где мир и любовь, счастье и гармония души!

Гденибудь да есть, я знаю. Возьму посох, и пойду туда, с котомкой за плечами.

Вот он, Зеленый остров...

Там живут белорунные нежные ксифодоны. Они встретят меня гармоничным бляением, подобным членораздельной речи и научат меня своему музыкальному языку. И буду я жить между ними, как Гулливер среди Гуигномов... И тебя там встречу, волшебная пастушка, о тебе думаю день и ночь, и целомудрен я как Дон-Кихот Ламанчский... туда... в царство мечты на крыльях поэзии... прочь проза земная!..

**Июнь.**

Я в Петербург приехал, был в округе по делам своим.

В округе мне сказали, что место за мною в N не оставят...

Масса обвинений оказалось против меня...

Декадент я, и нетерпим я, и гулял с гимназистками, и принимал на дом, и программы не представил, и программы не выполнил, давил свободу личности... и т. д. и т. д. Пойду по России искать место себе «оскорбленному сердцу уголок».

\* \* \*

Сижу в гостинице, гляжу на Петербург с балкона. Первый раз я здесь... Когда въезжал в него, я усомнился было, на земле ли я, какие дымчатые дворцы, разноцветные, с колоннами, с статуями, с древними и новыми богами, с барельефами, с фронтонами, с дьяволами — величавая красота... Здесь бы жить?! Но так говорил я первые дни, теперь — нет. Давка, давка здесь, личность в грош... Не мне, мечтателю тут быть... Куда нибудь в глушь!

\* \* \*

Поздний вечер... Туман над городом и отдаленный шум!

Грустно на сердце...

Боже! почто оставил ты нас! Нервы расшатались наши! Разума не стало, все бежим, толкаясь, неизвестно куда... Забыли тебя, тебя нигде нет... Отец!

Покажи лицо свое и оздоровеет душа земная! Покажись, покажись, небесный друг! Тогда мы вновь, здоровыми, чистыми детьми твоими станем, живущими в Раю Твоем! Дай нам выплакать на груди Твоей, Святой, ужащающее горе страшного одиночества в многолюдном городе! Слезы, слезы лейтеся... Он там, в вышине за туманом!

### **Сентябрь.**

Уж целый месяц, как я занимаюсь в женской гимназии в гор. М. Не стало прежнего усердия, и нет прежних увлечений. Постарели, поустал ли, не знаю.

Тут познакомился с одной интересной девушкой, с учительницей в приходском училище. Как то она с любовью взглянула на меня с первого же раза, как бы проникновенно. Не безумная ли она тоже, как я? Если безумная, хорошо. «Встряхните вы, говорит, пессимизм с костей ваших», вот как сказала... Это удивительно; «ходите, говорит, в церковь, привычка создает чувство, а чувство творит Бога, а с Богом жить хорошо» — какие речи она безумная говорит в наш либеральный век. Δαίμων подсказал мне, «вот твоя суже-

ная»...

## **Октябрь.**

Сегодня я опять испытал неприятность в Гимназии. Кто-то молву распустил, что я уезжаю, хотя и во сне мне не снилось, и все гимназистки расхныкались. Я прихожу в учительскую. Директор, который почему-то меня не любил, бросается на меня. «Что вы романсы у нас заводите». — Что такое? — Как что такое? — Да, позвольте, вы не кричите, в чем дело? — Вы будто уезжаете, или приезжаете, гимназистки плачут, это неслыханное дело!..

Я разругался... Не знаю уживусь ли я и здесь... А Зоя сегодня опять приходила ко мне, и, меня не застав дома, должно быть с хозяйкой уговорилась, потому что та сегодня что-то ее очень хвалит...

Впрочем я безумен, и одному трудно мне жить... Если бы жалованья было побольше, женился бы я...

## **15 Октября.**

Зоя Ивановна удивительная женщина; за что она меня любит, неизвестно, такого слизняка, как я любить, надо безумной для этого быть... Она безумная, милая моя. Тут болен я

лежал, она пришла... Не беспокойтесь, говорит, не вставайте, Андрей Степанович; я, говорит, лекарство вам дам... Потом чай стала наливать мне, а ручки белые у самой, как из мрамора... в Эрмитаже был, так там богиня Цирцея такие локти имеет, а Зоя из купеческой семьи... Удивительно... Но все же страшно. — Неужели буду я мужем ее... А мечты мои о прежней даме моей, о волнах синего моря?...

Неужели падаю я все ниже, и ниже... В самую тину жизни... Δαίμων, что же молчишь ты... В гимназии директор все на меня рычит, классные дамы шушукаются, только ученицы меня любят... Я совершенно одинок, политика от меня далека, в попойках участвовать не могу... Только Зоя одна... Я люблю ее, кажется, люблю, у ней такой узенький носик, мелкие зубы, серые глаза, улыбается так красиво, щечки с ямочкою... Но страшно, не знаю отчего... Что мне терять, не знаю? Я неудачник... — Моя жизнь сон... Я летал в мечтах, как во сне, и вот быстро упал, и лежу ниже всех... На днях решуся на многое. Зоя звала гулять на берег реки... Там поговорю я со звезд-

дами...

## **Ноябрь.**

Я в люльке лежу. Нянькой у меня Зоя Ивановна... Между мной и миром она, везде она. Как она быстро скрутила меня... Уж ей дал слово, что женюсь... Уж стихов не читаю ей (декадентских), дневника не показываю... Скуп я стал и берегу денежку... Вот когда слова твои сбываются, старый друг. У меня был друг по университету Артамонов, поэт, философ и этнограф, он мне говорил, — ты говоришь на своего дядю по матери очень похож, и на старости лет будешь таким, как он, будешь постоянно стонать о правде, истине, а сам копейки не дашь нищей, чужую собаку не накормишь, будешь в халате и рабом жены...

Неужели материя сильнее духа? Неужели душа моя не от самого Бога, от дяди моего, которого я так не люблю?!

Чувствую, что в глубокой яме я лежу.

Каменная стена стоит на моей дороге! Каменная: стена предо мною и пред всем человечеством!

## **15 Ноября.**

Я спрашивал Зою, за что она меня любит...



«Ты тих и скромн, душа твоя золотая, она кристальная... ты небо любишь, а не землю»... Так она сказала... Она любит остатки прежнего моего безумия, того безумия, которое она гасит... Безумие, безумие, неужели тебя лишусь я!

### **Декабрь.**

О Руссо! о горе юности моей! Тебя вновь вспомнил, и слезы полились из глаз живительными струями! Как!! неужели оставлю я прежние мои мечты, жажду новых звуков, идущих из глубины души? Неужели дух слабее тела, и лишь его отражение? Где вы, мои юные порывы, не я ли плакал в Киве, в трактире, читая Гайавату, на берегу реки над Фаустом?.. А теперь, что же спеленало меня и бросило в угол, ненужным, беспомощным, бранчливым... мужем госпожи жены? Что ж это трагедия среды, или трагедия лености? О как сердце тоскует мое... Ведь, знаю, ведь знаю, придет Зоя и утешит меня, и вновь буду кроток, и в халате... Погасли звезды для меня... Клюка, очаг, горшок — вот чрез моих дивная область... Любовь — ты не пегас, ты зыбка, не более, халат, ты — туфли... О госпо-

ди!

## 5-го Декабря.

Ты педагог — Зоя мне сказала! Какой я педагог, какие педагоги: классные дамы, окружные инспектора, это назойливые мухи, оводы, что хотите, только не педагоги... Так ли учат люди людей... Тут я был у столяров, заказывал мебель для Зои, там подмастерья и ученики сидели... То делай, то делай, там строгай, тут склей, тут спили — вот как учат. Пять лет и 10 лет так труби и будешь мастером...

А мы, о господи? Распинаемся, распинаемся перед ученицами, и плачем, и восхищаемся, и руки врозь, и взоры к небу... а они сидят, перешептываясь, и переписываются бумажками, а потом пишут бессмысленные сочинения... «Пушкин кудесник, Пушкин кудесник», как попугаи, вызубрили одно слово. Каторжники мы, а не педагоги... Вот и арифметика, задачи, задачи решают, механически, а самому составить ни! И все мы, образованные, в трех соснах блуждаем, и всякая баба мудрее нас... И в халате едим и пьем мы, хочешь гулять идти, дождь идет и опять сядешь, ни силы, ни воли, ни уменья... А маменьки... «У до-

чери неврастения, у дочери неврастения»... Будьте вы прокляты... У нас неврастения, а не у дочерей ваших, они ищут какого-нибудь дурака, вроде меня сумасшедшего, чтобы оседлать его на всю жизнь...

**Июнь.**

**(Через два года).**

Два года не открывал дневника моего. Много воды утекло.

Кажется мне, что эти два года я все просыпался из какой-то безумной дремоты. Теперь, сегодня, взглянувши в дневник, вижу, что болел был я. У меня сын родился Александр... Зоя моя умница, ее трудами и политикой я сошелся с директором мужской гимназии, и теперь, на днях, назначен инспектором. Я и не хотел, да Зоя говорит, что у нас мало денег, потому что она любит ходить по гостям и принимать к себе.

Дом поставлен на широкую ногу... Что делать? Инспектор и учитель теперь я... Уже не мечтаю, и декадентов не читаю, до них ли, я постарел, да и заботы...

Чем же жива душа? спросят дети мои, читая этот дневник.

Просто отвечаю я... На днях был я в церкви у Параскевы, где я старостой (по просьбе Зои принял эту должность).

Стоял я в церкви, и чувствовал, пелена безумия падает с меня, и снят катаракт с глаз моих невидимой рукой... Мечта меня взяла, гляжу на царские двери... Четыре Евангелиста там... Вижу их ясно, как они в сандалиях проповедывали по земле истину, новую истину для старого мира. Поднял взоры я выше, увидел прочих апостолов над царскими вратами, с книгами все куда они идут; учили они людей, что Есть Дух-Голубь во вселенной, и что простил Он человека... В это время слышу песню «Иже Херувимы» — и вспомнил Фауста, который яда не выпил, услышавши дивную песню «Христос воскрес»...

Еще выше взглянул я, вдохновенных пророков я увидел над апостолами; куда они идут со свитками в руках? они издревле приготавливали сердца людей к принятию мысли великой, что кроме нас, людей, есть еще жители в мире высшие, чем мы...

Над пророками — Отец и Сын и голубь между ними. И Дух огонь носился, над вода-

ми... Боже! какая старина, и вечная юность этой простой, но великой тайны! На клиросе поют «яко царя да подыдем».

Слезы брызнули из глаз моих; о чем я думаю, чего ищущу? Не высшая ли поэзия предо мною, поэзия веков и народов, печаль и утешение.

И вот облако окружило меня...

Казалось, в пространстве несуся... Синяя даль открылась предо мною за белыми облаками... На них сидят юноши с крыльями и куда-то все глядят в дальнюю точку «Яко да царя все подыдем». Я по-посмотрел на восток и треугольник увидал я, солнечный глаз внутри.

Потом рука спустилась из-за верхних слов эфира, и эта рука вращала миры, созидала солнца и планеты... «Его нельзя видеть в целом и прямо, а только отчасти»... Ты предчувствуешь Его...

Какой-то гимн высокий раздался, непередаваемый в земных звуках... Потом я не помню. Говорят, упал я, но теперь я понимаю, то было видение, как Дантэ... Восхваляю я этот день, и закончу навсегда дневник сегодняш-

ним днем, сказав детям и внукам моим на вечные времена — нет высшего безумия, нет высшей красоты, нет более дивного экстаза, как религия отцов ваших. К ней обращайтесь, когда иссякнет ваша душа и разум обманет вас.

Да будет так.

## Неблагонадежный



**Б**ыл ноябрь. С утра пушистый белый снег выпал с неба, а потом солнце показалось. Мягко было и хорошо идти по дороге, чему всем сердцем радовался Арсений Пеньков. Он восемьсот верст прошел, только одна сотня уже осталась.

— Скоро, скоро, говорил он, скоро буду в губернском городе.

Шел он из далекого севера, деревни Давпон. Управившись осенней жатвой, вымолотив хлеб и надев белую котомку, отправился он в «город».

Девятьсот верст не велика вещь для простого человека!

«Мой брат учен, рублей двести все уж мне даст, учился в уездном училище, в семинарии, еще где-то. Легко сказать. Состоит поди на службе, получает денежки, отцу не посылает. Ничего не значит. Отец сам всегда был скуп и мало помогал ему. Он и нам ничего не дает, старикашка, хотя деньги свои сушит часто в ведро.

Правда, дурная слава идет о брате. Но, думаю, пустяки. О ком злые языки не говорят. Будто бы под судом он! Отец и мать плачут. Дураки! Надо сходить да посмотреть, верно ли люди говорят. А вот я поеду, да устроюсь у него. Я и столяр, я и в кухне годеи, чистить сапоги, стряпать даже... Другая баба против меня никуда не годится. Солдат я, и все должен знать. Да с, брат меня оставит у себя, жалованье хорошее положит. Свой человек-де.

Другой раз и выпью, так не беда. Брат же ведь я!

Люди-то ведь дураки. Хотя бы наш Василий или сват Егор.

Тогда и скажут они: хитер же Арсений,

устроился у брата-то, и деньги посылает жене и дом строит новый, и каждый день вино пьет. То-то! Солдат я! Я учил все и все знаю! А они! Ха-ха! Что такое хоругвь, что такое солдат?.. Немые».

Так мечтал Арсений, таща за собой санки и стремясь к губернскому городу. «Злые языки, думал он дальше, — если их всех слушать, хоть на свете не живи. Из крестьян человек учился, да чтобы был без места... Такому человеку везде почет. Я четыре правила знаю, и то как меня уважали на службе... А мой-то брат и дроби знает... А дроби-то даже не всякий офицер знает...

Нет, поскорее нужно все узнать. Как явлюсь, так и прямо скажу; „брат мой! Тебя четырьмя правилами учил я в детстве, ты мне должен, ты и мне заплати...“».

Эти мысли и речи постоянно вращались в голове Арсения, во всю долгую дорогу. Но вот уж скоро, еще две станции, и тут белокаменный город.

Около того же времени по губернскому городу шли толки и разговоры о Степане Пенькове, только в другом смысле, нежели думал



о нем солдат Арсений. Полицеймейстер, человек высокого роста, тучный, бравый, любивший «словца» с подчиненными, особенно на пожарах, был в гостях у дворянина Власова. Последний служил по уделу (в юности же был сельским учителем), стал дворянином, имеющим большую пенсию и вышел в отставку. Теперь он потолстел, насилу ходил, даже прихрамывал для большей важности. Говорил громко, как и подобает, заслуженному человеку, хотя язык мало слушался его и речь его уподоблялась стуку телеги, едущей по мостовой.

Полицеймейстер сидел у Власова, доставляя тем большое удовольствие хозяину, потому что Сергей Васильевич любил вести хлеб-соль с людьми, а людьми же он называл военных и дворян.

Разговор шел о сыне Сергея Васильевича, об Александре, молодом человеке, похожем на отставного капитана своими большими усами, громовой речью, решительными суждениями обо всем. Ему было уже далеко за двадцать лет, но он никак не мог пересилить курса пятого класса реального училища (да

впрочем, что в том, русский дворянин до 40 лет все может воспитываться за счет отца).

Однако Сергей Васильевич беспокоился. Он высказывал это полицмейстеру, закусывая кусок утки, приблизительно в таких словах: «нужно взять репетитора, да настоящего, надо помочь сыну, вот думал, думал, и ни на ком не могу остановиться, как только на Степане Пенькове, который еще раньше, помогал, и весьма успешно, моим детям».

При слове «Пеньков» полицмейстер как бы проснулся и сделал сильное движение всем своим многообъемным туловищем.

— Этого мы вам не позволим, Сергей Васильевич, Пенькова вам не дадим. Вы видно, Сергей Васильевич, не знаете событий, волнующих весь город. Его выслали из Петербурга и здесь находится он под нашим надзором.

— Ах, этого я не знал, возразил плаксивым голосом Власов.

Глаза его стали влажными и от благодарности к полицмейстеру, и от немого чувства уважения к власти, столь проникновенной в познании людей.

— Однако, как же это так? Мне все-таки,

знаете, жалко, знаете, как погибшего человека. Опять же он был полезен моим детям, и Саше, и Вите.

— Да это что, высылка из Петербурга, говорил полицмейстер с тоном человека, которому все известно в мире, это часто бывает в наше безурядное время. Не в том, говорю, дело... Желая придать еще больше занимательности своему рассказу, он на этих словах остановился и, не торопясь, взял кусок утки со стола.

— Да вы, Ваше Высокородие, плохой кусок взяли, вот этот лучше, потчевала его Варвара Гавриловна Власова...

— Да, нет, мне все равно... У меня зубы еще хороши... Не в том говорю дело... А он забрался, куда вы думаете?

— Куда? Спросили все в один голос...

— Но как думаете?

— К гимназистам, реалистам что ли? разгадывал Власов...

— Бери выше... Он забрался в Монастырь Законоспаской Пустыни... в эту чистую Обитель, и ну там проповедывать, что Бога нет....

Все ахнули бывшие за столом... На время утка была забыта, жевание прекратилось.

Рты были открыты... И неподвижные глаза смотрели на дивного рассказчика.

— Это в монастыре-то против Бога...

— В обители-то иноков....

— У отца-то Серафима! в один голос повторяли муж и жена Власовы.

— Да! воодушевившись, продолжал полицеймейстер, видя, что это производит впечатление. Он даже увидел слезу, текущую по щеке Варвары Гавриловны.

— Из монастыря прислали донесение прокурору, и мы сделали обыск. Утром, рано пришли мы к нему. «Где ваши вещи»? спрашиваем.

— Это в монастыре-то сделали вы обыск, заинтересовался Власов...

— Нет, из монастыря он уже убежал... здесь у нас под руками.

«Вот, говорит, вещи», показывает нам на пустую корзину, а сам сидит, что-то пишет, на нас не глядит. Смотрим, какие-то цифры... «Это что вычисляете»? спрашивает прокурор. «Вычисляю, говорит, движение кометы, небо, говорит, для меня интереснее земли».

Тут мы окружили его, молодца. Изволь от-

вечать. «Я, говорит, готов». И на все вопросы — не знаю, да не интересуюсь. Ничего не показал, но мы все знаем, конечно.

Вот какой хитрец и негодяй, человек продувной. Жандармский офицер сказал, что голова у него не в порядке... А я думаю, просто, прикидывается... Мы видали таких...

— Эка беда, эка беда! Говорила Варвара Гавриловна. Поистине верно сказывал мне один подвижник, «кого, говорит, Бог хочет наказать, сначала отнимет разум». Вот верно, святая истина!..

— Теперь как же вы с ним поступите, спросил с влажными от умиления глазами Власов, наливая себе и почетному гостю по стакану вина.

— Под строгим надзором пребывает... А и народ же! Тут вы знаете, есть такой несуразный, хотя и добродушный человек, некто Печорский. Все возится с газеткой.

— Он, кажется, с женой не живет, заметила Варвара Гавриловна...

— Да. Так вот он на днях поместил... Смотрю, глазам не верю... Объявление в газете (не знаю, как это я не заметил и разрешил).. Чи-

таю: «Опытный репетитор Пеньков преподает все науки, философию, политическую экономию, в объеме средних учебных заведений».

Вы обратите внимание на этого человека. Его выслали из столицы, он убежал из монастыря, как Гришка Отрепьев; у него обыск и он печатает объявление: Пожалуйте мол ко мне гимназисты и реалисты. — Мы, конечно, приняли меры, никаких уроков, нигде и никогда он не найдет.

Такова была беседа о Пенькове у Власова; и подобные же разговоры происходили и в других благочестивых домах губернского города.

Они были вызваны внешними условиями в жизни Пенькова. Он вышел из лесного Института, поступил в монастырь, вернулся в город, и захотел найти уроки.

Все это было очень странно с точки зрения обывателей и начальства.

Да и прокурор Зеленин, просвещенный человек, с красивыми бакенбардами, любивший рассказывать анекдоты о том, как один бедный молодой человек добивался взаим-

ной любви от какой-то княжны и, наконец, сорвал цвет наслаждения...

«Вот знаете каков», восторженно говорил прокурор, потирая руки от удовольствия; в суде же он чаще всего говорил о красном петухе, которого выпускал из-за угла какой-нибудь злоумышленник в мирной обломовке...

Во всех других отношениях Зеленин чрезвычайно походил на других людей, за исключением разве того, что чрезвычайно нравился дамам.

Так вот этот Иван Ник. Зеленин получил намедни замечательное письмо из монастыря Законоспаской Пустыни, от одного монаха священника, который, овдовев, посвятил свою душу Богу...

«Раб Божий, отрекшийся от Мира, решаюсь выступить перед Вашим Превосходительством с этой жалобой во имя благочестия, без которого погибнет род человеческий... Прямо перейду к описанию событий, приводящих в трепет сердце и в смятение душу.

Был у нас Степан Аркадьев Пеньков! Злобный дух в образе человека! Он овечкою к нам явился, кроткий. Пришел в церковь Успения

Владычицы Божией Матери, и молился, и плакал, глядя на иконы и воздевая руки к царским дверям. Потом явился, мрачный, к отцу Игумену, кроткому Старцу и сказал: „в вашем храме отдохну я от тяжести мира; в лице же твоём, Отче, вижу я черты родного отца моего“. И залился слезами, и обнял отца игумена... „Прими меня под сень твою, блудного сына, бескровного“, говорил он.

Кроткий Серафим, принимая слова за дела, возвел его в чин послушника, приказав ответить ему отдельную келью и одеть в монашеское одеяние, прибавив, чтобы от полуношницы, как человека изнеженного образованием, освободили. Смотрим, благочестивый юноша перед нами. Идя в церковь, глядит на небо и молится на коленях; в храме на клиросе поет, читает апостол, хотя и неопытным голосом, но с ревностью великой и льет слезы, глядя на икону Спасителя... Так докладывали мне монахи певчие... Дивились мы диву и сердцем радовались... Является из кельи на трапезу, читает в слух жития Угодников Божиих по чину, пока братия пищей укрепляет себя. Ласково говорит с иноками. Послушник,



взятый из народа, спрашивает его, испытывая: „кругла ли земля?“

Он ему в ответ, воздевая руки к небу и глядя на храмы Божии: „Взгляни, брат Иван, и на солнце, на луну, не круглы ли оне у Бога“.

— Круглы, отвечает простодушный Иван.

— Отчего бы и земле, брат мой, не быть круглой за одно, раз солнце и луна круглы...

— Вот разве, за одно то, ответил инок, оболщенный словами искусителя... змеею сладкоречия и начинает проповедывать братии, что земля кругла, потому что у Бога, и солнце, и луна круглы...

Все восхищены лжемудростью Пенькова и школу дали ему... он учит детей, о Боже! О Боже! Первый раз подобное видел я в жизни, и вот пишу...

— Дети, говорит он, слушайте истину, Адама и Евы не бывало никогда, ни рая на Тигре и Евфрате, ни четырех рек священных, в разные стороны протекающих... От обезьяны происходят люди...

Боже мой! Боже мой! Какая ересь, как назвать ее! Ваше превосходительство! В пустыне Благочестия раздалось Богохульственное

Слово; что должны чувствовать мы, смиренные иноки: в тихой обители слезы проливаем... нам Бог защита и гражданская власть»...

Такое красноречивое письмо получил Зеленин. Конечно, сейчас же принял меры...

Взглянув в зеркало, поправив бакенбарды, и, найдя все прекрасным в себе, как Нарцисс, отправился он, куда следует...

И у Пенькова был обыск, о чем рассказывал полицмейстер и о чем говорил весь город. Для Пенькова закрылись дома всех знакомых. Все, прежде знавшие его, отвернулись.

\* \* \*

Он теперь жил на краю города, в маленьком, деревянном домике, у пожилой женщины, портнихи Настасьи Топорковой; та нанимала квартиру в доме огородника Якова, хитрого ярославского мужика, окружившего свой дом большими огородами и удачно торговавшего овощами.

Окна маленькой квартиры Пенькова глядели на зеленые огороды и на отдаленную белую церковь Николая, только кое-где видны были кое-какие постройки соседей-мещан торговца Якова.

Степан Аркадьевич Пеньков и Настасья Топоркова жили сейчас очень бедно. Ели один картофель с хлебом, а утром и вечером пили пустой чай, потому что ни уроков нельзя было найти, ни поступить на службу.

В тот день, когда Арсений уже подходил к городу, Степан сидел в поношенном пиджачке у железной печки (у них было холодно в квартире) и что-то чертил на бумаге; Настасья же сидела в другой комнате и шила.

Против Пенькова сидел молодой человек Остроумов, семинарист и глядел на него.

— Бросьте вы чертить круги один в другой, к чему вам математика, раз закрыты для вас все учебные заведения Лучше какое-нибудь взять другое дело.

— Нет, теперь я всей душой предался этим дивным знакам, глядя на них, я вижу движение миров, их величие, и красоту... Нет, Николай Васильевич, в этих кругах, которые я черчу, великая сила.

Остроумов улыбался.

— Знаешь ли что? Вчера я был у (учителя математики) Порецкого и тот говорит, что Пеньков никогда не сдаст экзамена на зре-

лость, всегда его провалят на экзамене.

— Ах, Коля! возражает Пеньков... Ты так рассуждаешь, как будто нет солнца на небе, ни луны на голубом своде.

— А ведь есть все это, друг... Кто любит мир, тот богаче всех и боится ли он кого.

Порецкому ты скажи, что Пеньков глядит на знаки и, как Нострадамус, чувствует законы мира.

Не трудности жизни интересовали меня до сей поры. Я хотел быть священником Бога живого, но увы! вижу я, не ужиться мне в деревне с попами. И теперь науки, одни науки — орбита моей жизни.

— Но чем же жить, говорил Остроумов. Вот и я хочу учиться, два раза экзамен держал на зрелость, а все проваливался, один год по латыни, другой по арифметике... Как тут?

— Третий раз держи.

— Опять провалят...

— Поезжай в другой город, там держи в четвертый раз.

— Ну, покорно благодарю. Если не выдержу теперь, я плюну и поступлю на службу. Вот давай об этом хлопотать.

— Нет! Я более, чем когда-нибудь люблю науки. Смотри на эти интегралы. Какое дивное чернокнижие, какие волшебные знаки. Я — маг, и душа моя ведаёт блаженство. Пусть бунтуют стихии и бури кругом и злой рок угрожает нам, люби природу и живи для истины. Гляди, вижу я движение луны и чудные белые горы ее сняты мне в волшебных лучах... А там солнце, окруженное зодиакальным ореолом...

— Я удивляюсь тебе, говорил Остроумов. Золотая твоя голова и она заражает меня. Я захотел тоже математики. Дай-ка мне задачу...

— Возьми и реши. Вот дана в мире где-нибудь пирамида, из золотых линий составлена она... Поверхность ее дана и угол между ею и основанием, вычисли, друг, площадь красивой шестиугольной фигуры, лежащей в основании.

— Эка поэзия, ладно, ладно, вычислю...

Не то думала Настасья Топоркова, слушая из.= другой комнаты разговор друзей.

«Несчастлива я. Вышла в молодости замуж. На второй же день разругались. Негодяй!

Гнусными словами оскорбил меня. Сколько он меня преследовал... Один Бог знает. Наконец, где-то он сгорел от вина... Я стала свободна. Другого нашла. Получал шестьдесят руб., столоначальником был в контрольной палате, жили десять лет вместе, лучшие годы, сына имели... Подвернулась злодейка, обворовала его... Несчастливая! Женила таки на себе... И все теперь колют мне глаза. Живут в двухэтажном доме...

Вчера Параскевья рассказывала, что принесла ему уже другого щенка. Чего не перенесло мое сердце! А кто это видит. Один Бог. И думала, что услышал Он мою скорбь. Нашла квартиранта. Как хрусталь — его душа.

Уж понадеялась я, что устрою свою жизнь, будет служить, может быть и замуж возьмет. Этот уж не обманет и не оскорбит, он на женщин не глядит, серьезный, ни на возраст, ни на смазливость. Опять беда: места никакого ему не дают, да и не думает он об этом. Куда-нибудь в волостные писаря поступил бы, везде ведь люди живут, он же пишет хорошо».

Таковы были думы Настасьи Топорковой.

Куда они повели бы ее, мы не знаем, потому что прерваны были они стуком в двери.

Она открывает их и видит пред собой какого-то странника с котомкой. То был Арсений. Глаза у него ввалились, лицо грустное. Он, видимо, устал и чем-то озабочен.

— А, брат Арсений! Здорово, милый, садись. Я уж давно хотел послать глобус твоему сыну Николаю. Учится ли он?

Арсений молча снял котомку, разделся, помолился на иконы и всем поклонился присутствующим, по очереди, и Пенькову, и Остроумову и Настасье — хозяйке.

Сказал «здравствуйте». «Насилу то я нашел вас, Степан Аркадьевич. То туда то сюда показывали».

— Здорово, здорово. Самовар поставь Настасья.

Остроумов встал и сказавши: «я зайду другой раз», ушел.

— Но живы ли родители мои, здоров-ли старик наш, мудрый Аркадий и мать Устинья?

— Живы! Что им будет. Привыкли да живут. У них деньги есть, все нанимают, как гос-

пода, вот нашему брату так плохо.

— А что?

— Да ведь как? То неурожай, то скот падает, тут лошадь околеет.

— Вот пришел посмотреть, как вы поживаете.

Арсений был удивлен и смущен, видя бедность Степана. В маленькой грязной комнате он живет на краю города у огородника. Посреди комнаты чугунная печка с черной трубой.

Сам он такой худой, видно нигде не служит, под судом, видно, народ правду говорил.

Поэтому, когда Степан, взяв топор, вышел дров поколоть для железной печи, чтобы комнату сделать потеплее для брата, Арсений немедленно, взглянув на пожилую женщину, спросил ее: «ну что он служит?»

— Нет, он уроками живет, ответила, немного смутившись, Настасья.

— Много наживает?

— Да, ничего, хватает.

— Водку-то не пьет?

— Нет.

«Ну хоть это хорошо», думал Арсений.

— Вы, только не знаю, как вас величать, не



сказывайте ему, что об нем спрашивал я.

— Да, нет, улыбнулась Настасья.

Арсений, не мог придти в себя. Он был ужасно поражен бедностью Степана.

«Ведь можно же под судом быть, но так жить бедно; хуже нас живет, а сколько об нем говорили, учен да учен».

Напились чаю братья.

Степан одно говорил: «учить, учить надо детей, вот уж я книг пошлю с тобой и глобус». Арсений только удивлялся. Сходил он к вечеру в баню, переменял рубаху, надев красивую, ситцевую; и поуспокоился немного, но все же не может в толк взять, что господа у них так хорошо живут, а он, его брат, как нищий, а учен не менее.

Наступил вечер. Звезды показались на небе.

Арсений, улучив минуту, когда Настасья куда-то ушла с узелком, заговорил со Степаном.

— Степан Аркадьевич, не извольте на меня сердиться, вы бы того, поступили бы на службу, а то очень уж плохо мы живем, то корову медведь съест, то неурожай, то волки шкуру с

овцы сдерут, подати опять же, земли опять мало, местность лесистая. И старик-то отец тоже говорит, служить бы, служить бы. У нас хорошо живут в городе жалованные люди.

— Ах, брат Арсений, я готов бы вам помочь, и служить бы готов, да, друг, на звезде ведь мы живем. Если встать на луну, земля звездой прекрасной на синем небе покажется. И вот не могу служить я. Учиться и учить нужно, искать повсюду Бога живого.

Арсений не знал, что сказать на это, что и думать. «Видно переучился он» и грусть, и тоска овладели сердцем его.

— Конечно, у Бога хорошо, наконец сказал он вслух, да житье-то наше очень плохое. И отец-то говорит, и мать также, что довольно бы уж учиться для крестьянина. К чему, еще заучишься.

— Нет крестьян и дворян на земле, друг Арсений, есть люди, живущие под небом голубым на дивной земле. И долго говорил он, и чем больше, он говорил, тем тяжелее стало на душе у Арсения. И он поднялся на полати и лег там, вздыхая.

Через несколько дней Арсений, надевши

пальто Степана Пенькова на свои плечи, взявши в санки что было можно, в том числе и глобус (хоть шерсти клок, думал он), обратно отправлялся на север, в те отдаленные леса.

На душе у него кошки царапались. «Что скажут брат Василий и сват Егор? Скажут, Арсений-то хотел воспользоваться чем-нибудь у брата, и вот шиш привез. Дурак! Девятьсот верст попусту сделал».

\* \* \*

Было дело к вечеру... Арсений вошел в одно село... Там было заведение, где веселье течет рекой... Туда он вошел и спустил там и пальто, и глобус... Так последний и не попал в руки сына Николая...

Уже поздно ночью, шатаясь, вышел он из села... А блестящая луна лила свои лучи... Земля казалась оттуда большим красным кругом — планетою.

А не знаем мы, думала ли луна о тоске Арсения.

# Придаш



**В** те годы был я молод и силен. Глядя на звезды, ходил и по селам и деревням, не бояся ничего. Гармоника моя звонко играла, кудри же прельщали дев величавого севера. Звери и птицы дружны были со мною. Серый волк часто перебегивал мне дорогу, съискоса глядя на меня маленькими глазами.

А медведь, отшельник лесов, молча уходил от меня, видимо не желая никаких мне неприятностей. Да что говорить? Бодро я жил... Только раз печаль коснулась моего сердца... Это было давно. Я шел в отдаленную деревню, Сейты, чтобы послушать слепого сказочника Вонифатия.

К нему я шел; дорога лежала через село Придаш. Пересекши сосновый бор, по речке Пожег, пришел я в это село и, идя по улице, долго глядел, в какую бы избу войти мне и где бы дать отдых утомленным членам.

Наконец одна избушка над ручьем, покры-

тым теперь снегом и льдом, приветливо взглянула на меня своими небольшими окошками.

Подошел я к ней. Поднялся на новое крылечко. Ступеньки скрипели под моими ногами. Страхнувши снег с валенок, вошел я в теплую избу. Перекрестился, глядя на старые иконы, поклонился молодой хозяйшке, которая сидела в красном углу и пряла кудель. Рыжеватые волосы ее вились в кудри, лишь отдельные локоны окаймляли белую шею. Золотистые брови красиво вырисовывались над остро светящимися, как звезды, глазами. Она пряла и тихо пела. Когда я остановился у порога, она сказала звучным голосом, звенящим, как серебро: «добро пожаловать, погрейся, отдохни, вьюжно ведь на улице-то, у нас же тепло в избе».

— Да надо отдохнуть, долго я шел темным бором, и вьюжно там, и немые сугробы глубоко, здесь же у вас уютно и светло.

— Откуда ты будешь, служивый? Из службы ли — к родным путь держишь, или на службу идешь, оставив молодую жену лить слезы беспрерывно.

— Нет, гуляю по свету я сам по себе, по доброй волюшке, молода жена не плачет по мне, и малы детушки меня не ждут.

Красивая хозяйка на меня хитро взглянула, и взор ее проник в мое сердце.

— Ведь часто так говорят бурлаки молодые, так постоянно повторяют, нет де у них молодой жены... А наши сестры дуры и верят этому...

— Правду говорю я... Дома у меня только старик отец. Он один обо мне тоскует, о безумном сыне, и глядит в слуховое окно старческими глазами и ждет кормильца сына в родной дом.

— Если так, добрый молодец, то скажи же мне, чего ищешь ты по селам, и деревням, и зачем в вьюжную погоду пересекаешь дремучие темные боры, где ходят только дикие звери? Также скажи, как тебя звать и величать... Меня же зовут Анастасия Степановна.

— Анастасия Степановна! Хожу я, чтобы видеть, как живут добрые люди, какие сказки и песни рассказывают и поют по глухим деревням и по большим селам на перекрестках дорог. Зовут же меня с детства — Аркадий Фе-

офилактович, по прозванию Сымдорса.

— Если песенников ты ищешь, сказала Настасья, опять на меня взглянув хитрыми, зоркими глазами то пришел как раз к месту, здесь умеют петь. С тех пор, как овдовела, а тому уж три года, как муж мой лег в могилу, видно надоела ему вольная жизнь и молодая жена, все плачу и пою, одинокая, и лицо свое умываю слезами... Да, и не вернулся он... А статен был, как ты... При этих словах, белые щеки Настасьи покрылись тонким румянцем и слеза показалась между длинными ресницами. Затем она встала и стряхнула подол.

— Что же это и не угощаю тебя ничем, сейчас самовар поставлю и закуску принесу... И быстрыми шагами вышла она в сени. Я удивился легкой походке и стройному стану молодой вдовы.

Я осмотрелся кругом. Как уютно в избушке, стены чистые, белые, и голбец, и потолок, и так светел красный угол, и свет льется спокойно в маленькие окошки с улицы от белого снега.

У какой чародейки я? Глаза ее проникают в сердце. Ведь волшебниц много, говорят ста-

рики, в дремучих лесах севера, (и юга также).

\* \* \*

Быстро приготовила самовар и завтрак Настасья Степановна, и сладко утолил я свой голод в приятной беседе с бледнолицей вдовой с острым носиком, с алыми губами и с светлозолотистыми волосами. И время утекало незаметно.

— Так спой что-нибудь мне, Настасья Степановна!

— Хорошо. Меня всегда приглашают по домам, и плачу я вместе с невестами. Так и сейчас спою я любимый плач мой.

И запела она, севши между двумя окошками, (ударяя себя в колено) звонким, как колокольчик голосом:.

*Я села на самом чистом месте  
от образа,  
Я села у стены избы с золоти-  
стым мхом  
Я села, будто неподвижный боль-  
шой камень,  
Я села, точно речная быстрина,  
готовая утечь,  
Я села, точно у залива, готовая  
войти в Сысолу,*



У Сысолы, готовой войти в Вычегду.

Я села точно у Вычегды, готовой войти в Двину,

Я села точно у Двины, готовой войти в море...

Если я выйду в морское течение,

Если не выпадет мне счастье,

В человеческий век мне придется

Плыть по середине, не видя конца,

Не видя берега,

Плыть без лодки, без весла,

Идти от одной волны к другой,

От одного берега отстану,

К другому берегу не пристану.

Я не хотела тронуться

Не будучи выкорчевана 12-ю жердями,

Я не хотела оторваться,

Не будучи вырублена 12-ти половым топором.

Сыну чужого отца

Не нужно было,

Ни деревянной жерди, ни железного лома,

Словом мягким, как нетопленное масло,

Меня бедняжку выкорчевали.

*Он унес мое великое девичество,  
Запахнувши под свою одежду  
Он унес в узле своего пояса.  
Он унес на своих коленях, прижи-  
мая,  
Он унес на губах своих, подувая...  
Печаль охватила мою душу...*

— Довольно, Настасья Степановна, больше я не могу слушать, печаль овладела мною.

Она на меня опять пронзительно взглянула. «Сердце видно у тебя хрупкое».

Тут встала она, моя хозяйюшка, взяла с лавки широкий, разноцветный пояс и надела его, и стала стройнее, надела на шею красный платок, и лицо ее стало белее.

Потом взяла шитье она и села к окну. В это время солнце заходящее выглянуло из-за белых туч и озарило Настасью. Я заметил — длинные ресницы золотистого цвета прикрывали ясные глаза. Она шила; ее палец одетый в серебряный наперсток, быстро ходил, на алых губах была тонкая улыбка.

— Ты еще мне скажи, обратилась она ко мне, кто твой отец и мать твоя кто, богато ли живут, или мыкают горе, как наши бедные

соседи, хотя и не думаю, судя по твоим словам.

При этом она на меня взглянула и заметила в лучах заходящего солнца, что серые глаза ее с зеленым отливом. Они ласкали и томили, маня к себе и пугая.

— Отца моего зовут Феофилактом, а мать мою Гликерией. Живут они далеко отсюда, за многими реками у соснового бора. Отец мой охотник и рыболов. Из рук тоже у него ничего не валится. Нет бедности у них в доме, ни богатства. Я вижу, моя хозяйюшка, что солнце уже ушло за дальние леса, а я собирался в деревню на берегу озера, отовсюду замкнутого ельником, Сейты. Сегодня ночью туда доберусь я, если идти быстрым шагом, приду к поздним вечерним уютным огням, к слепому сказочнику Вонифатию...

Так сказал я и собирался уже встать, потому что какой-то голос шептал мне, что надо идти...

Быстрым движением рук удержала меня Настасья, при этом обнажились ее локти дивной белизны, наперсток упал с ее пальца и она нагнулась за ним, и я любовался ее белиз-

ною шею.

— Что ты, что ты, сказала она, подняв на меня глаза. Я сейчас приготовлю ужин, — вчера рыбы купила я у соседа, недавно из-под льда вытащили ее наши рыболовы. Куда же ночью ты в лес пойдешь, неровен час, лютый зверь может встретиться в лесу.

— Ведь все равно, ласковая хозяйюшка, не избежать судьбы своей.

— Все же, как же можно. Да у тебя, кажись, гармоника с собой. И ты ничего еще не спел, а сам ты любишь сказки и песни.

— Вот изволь, сказал я.

И, подыгрывая на гармонике, я спел:

*Уму и сердцу мир чужбина,  
Земля холодна и мрачна,  
Всю жизнь со мной в вражде судь-  
бина,  
Стезя печальная темна.  
О встречу ль я мой ключ лечеб-  
ный,  
Сверкающий в лучах весны?  
Увижу ль образ я волшебный  
В объятьях сладкой тишины?  
Исполнится ль завет мечтаний,  
Умчится ль мимо черный год,*

*Жар утолится ли желаний  
Вблизи родных веселых вод?*

— Ты про кого же это поешь? спросила меня лесная Калипсо.

— Так, это тоска души моей.

Тогда она взяла скамейку и близко подседала ко мне. Меж тем солнце погасло, послав последний луч света в крайнее окошко.

— Послушай, сказку тебе расскажу я, а может, быть и былъ.

И стала говорить она. Речь лилась плавно, без перерыва. Только порой вздыхала она. И грудь ее высоко поднималась. Временами огонек вспыхивал в глазах...

Наконец, в избушке потемнело... Мрак окутал все углы ее... Я встал, оделся и взял посох... Она стояла передо мною...

В глазах ее читал я любовь и жалость...

«Так друга милого я теряю, в первый и в последний раз мы виделись с тобой».

Сердце мое дрожало, но какой-то голос говорил, иди, иди к сказочнику, к седому Вонифатию...

И направился я к дверям...

В потемках она меня обняла и поцелова-

ла... «Прощай»...

Я вышел на крыльцо...

Луна блистала над лесом дремучим возле села!

«О сказка мира! Какого томления ты полна!»

Я сошел с крыльца... Она стояла на ступеньках... Золотистые кудри ее были освещены бледной луной... Грудь ее дрожала... Я шел дальше и дальше по пустынному селу, приближаясь к лесу.

Зачем не могу забыть этот образ и слезы текут теперь?..

Погрузился я в лес, насилу ощупывая дорожку. Глаза мои покрыты были туманом... Желал бы я, чтобы никогда не рассеивался он!?

К утру, на заре, к утренним огням, прибыл я в Сейты. Увидел я слепого Вонифатия и бросился ему в объятия. «Сказочник, спаси мою душу от тоски», сказал я.

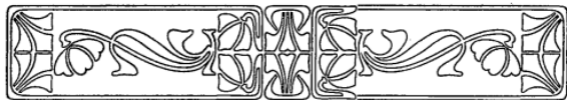
— Что ты, что ты, Аркадий, сказал он мне. Иди, тепло у меня у печки.

\* \* \*

С тех пор прошло много лет, но не могу за-

быть молодой вдовы, Настасьи Степановны, из села Придаш. Ее избушка у ручья, подольдом текущего в речку Пожег.

## Дорогое счастье



**П**риват-доцент мат. Феофил.

Его жена Доротя.

Дочь Елена.

Сын Василий 8 лет.

Купец и фабрикант, миллионер Сумкин.

Земляк Феофила Ершов.

### Действие I

### Явление I

**(Н**ебольшая комната. У стола сидит Феофил, он грустно смотрит на стену перед собою).

**Феофил.** Я всегда страдаю. Я изнемогаю от моих собственных размышлений. Мысль моя носится в многообразных пространствах. То великим поэтом себя я воображаю, то дивным этнографом, то замечательным матема-

тиком... Но ничто не успокаивает души моей... Астрономия! тебя не могу забыть я! Миллионами светлых глаз глядишь ты на меня ежечасно. Я о тебе умираю, любовник несчастный... Я не астроном! Кто так горевал, как я? Гулливер о гуигномах, сидя в конюшне среди лошадей, великий Дон-Кихот о красавице Тобозской, обращенной в крестьянку? Не знаю, горе меня убивает.

## Явление II

*(Входит Доротея).*

Тоска не дает мне покою, Доротея, и ты никаких мер не принимаешь.

**Доротея.** Ты что опять, неблагодарный?

**Феофил** *(вздыхая)*. Я говорил тебе раньше, не успокоюсь, пока не открою планеты...

**Доротея.** Что надо делать, чтобы открыть планету?

**Феофил.** Наблюдать небо, день и ночь.

**Доротея.** Ты наблюдаешь?

**Феофил.** Нет. В этом и горе мое, что не занимаюсь я тем, в чем вся ужасная трагедия души.

**Доротея.** Неужели тебя не утешает, что хвалят твои книги по философии, твои этно-



графические...

**Феофил.** Нисколько. Пойми ты, все это вздор, все это из того же мира земного, иной мир мне необходим, иная планета, новые перспективы на вселенную — иначе тоска, скука!

**Доротея.** Это субъективно, неужели новый рассказ, или новая мысль в философии не есть новый мир, а непременно только астрономия важна?..

**Феофил.** Только астрономия. Только там в пространстве миры неземные, только там великий простор воображению.

**Доротея.** Ты же сам говорил, что люди никогда не будут открыты на планетах, потому что наши трубы плохи.

**Феофил.** В этом трагедия человечества. Мысль его выродится, если не найдем мы другого человечества на иных мирах. О! все остальные науки — переливание из пустого в порожнее. В царства идей стремится моя душа... О Марс священный, коралловая звезда, и ты алмазный Юпитер, и ты Сатурн с волшебным кольцом... Когда увидим новые чудеса на ваших поверхностях... Тоска, тоска меня

сушит.

**Доротея.** Ну так, лучше уж купи трубу, да наблюдай, чем так тосковать. Хотя и не верю ни во что в это, что там увидишь, с земли не сойдет человек. Так для утешения купи...

**Феофил.** Купи! Надо создать трубу, новую, небывалую, да поставить ее на гору высокую, тогда душа моя обновится. Иначе потемнеет мой ум, в мозгу моем чувствую я неизлечимую болезнь, ненасытную потребность, жажду неутолимую небесного свода, отдаленных звезд. Ох, смерть моя!

### Явление III

*(Входят Елена и Василий).*

**Василий.** Папа, папа, я волчок сделал, смотри, как вращается.

**Феофил.** Покажи. Да хорошо. Милый мальчик, твой волчок вращается, как дивный Сатурн. Будь астрономом, если любишь папу, звезды наблюдай.

**Василий.** Буду папа *(вращает волчок)*.

**Елена.** Посмотри, я в магазине была, купила кольцо с тремя головками. Смотри, как блестят.

**Феофил.** С тремя головками, как с тремя

звездами Ориона. Три звезды Ориона, дочь моя, о если бы ты о них думала...

**Елена.** Я думаю. Я люблю три, у меня булавка есть тоже с тремя камнями.

**Доротея.** Дети вот еще малы, не теряй рассудка-то окончательно, Образумься... Ты же постоянно учишь довольствоваться малым и земным...

## Явление IV

*(Входит почтальон).*

Вот повестку тебе, Феофил... Приглашают в антропологическое общество. Какой тебе почет со всех сторон, а ты вздыхаешь; на возьми шляпу, поезжай в общество, встряхнись.

**Феофил.** Нет! Астрономия, астрономия! *(одевается).*

Дети мои, растите скорее, и помогайте мне в научных работах, один я, один, а мысль блуждает по Вселенной *(уходит).*

**Доротея.** Не беспокойте папу никогда, вишь как он страдает.

**Елена.** О чем папа страдает?

**Доротея.** Вот вы маленькие, надо вас кормить, воспитать, вот заботы у него.

**Елена.** О трех звездах он плачет все, а не о

нас.

**Доротея.** И о звездах тоже, много у него заботы. Молись Богу Елена, пусть Боженька его успокоит.

*(Елена молится).*

**Василий.** Я выросту, да поднимусь на башню, да и принесу папе те три звезды, о чем он плачет. Скажи мама ему, я принесу, пусть не плачет.

**Доротея** *(целуя его).* На тебя наша вся надежда.

## Действие II

**(Большая комната в купеческом доме. Кру-**  
**гом сад, березы и осины ветвями бьют в**  
**окна. У стола сидит купец Сумкин с проседью,**  
**с благодушным лицом).**

## Явление I

**Сумкин.** Ты, Петр, сосчитай все да сообрази. Они просили пять тысяч на иконостас. Да ведь что пять тысяч. Они на это ничего не купят. Ты сам, съезди в Москву, да купи готовое.

**Рукин** *(приказчик).* Знаю, Иван Яковлевич, я ведь и церковь-то знаю. В молодости бывал в тех краях за Камой... Как игрушечка церковь-то.

**Сумкин.** Ты, также, о школах подумай. Нужно-там школку устроить для мальчишек-то. Тысячи две положу я для начала. Напиши об этом в ту деревню, али село.

**Рукин.** Я сегодня же напишу, а завтра пожалуй, я поеду в Москву, найду готовый иконостас.

**Сумкин.** Да ты не забывай еще вот чего. Надо купить быков в Украине, да отправить в Петербург. У нас когда срок-то? Смотри нужно к сроку. Нельзя, обещали.

## Явление II

*(Входит швейцар).*

**Швейцар.** Какой-то господин желает вас видеть. Я ему говорю — занят Его Превосходительство... Нет, прет.

**Сумкин.** Ну, пусть войдет, что ему нужно.

*(Входит Феофил Лесков).*

**Феофил.** Честь имею рекомендоваться, приват-доцент Лесков.

**Сумкин.** Садитесь, пожалуйста, чем могу услужить ученому мужу.

**Феофил.** Идея одна не дает мне покою уже много лет. Долго думал, к кому обратиться, потому что один я ее не могу исполнить. На-

конец, выбор мой пал на вас, так как я об вас слышался не только как о человеке благодушном, но и как о разумном. А последних меньше всего на свете.

**Сумкин.** Покорно вас благодарю за лестный отзыв. А теперь прошу перейти к делу, если оно кратко выразимо.

**Феофил.** Я предлагаю устроить обсерваторию на уральских горах, на одном диком утесе. Для этого нужна небольшая сумма, минимум 18 миллионов рублей.

**Сумкин.** Да, неслыханное предложение, у нас же ведь есть много обсерваторий на Руси, хотя я никогда не думал об этих вещах.

**Феофил.** Никуда не годятся наши обсерватории, или они в сырых местах, где небо постоянно покрыто облаками, или очень плохи. Построить нужно обсерваторию в сухом климате, на высоком месте, устроить трубу, лучшую, чем до сих пор существовали, тогда увидим мы новые красоты неба.

**Сумкин** (улыбаясь). К чему же уж нам лезть так на небо, разве нет дел на земле?

**Феофил.** Единственно верное знание, где нет двух мнений, где дурак не может спорить

с умным — это математика. Вычисление и законы пространства. Единственно великое приложение, оживляющее душу, окрыляющее воображение — это астрономия. Небо оплодотворяет землю. Без этой великой науки, описывающей в красивых фигурах и чудесных сочетаниях чисел движения миров, равных и превосходнейших, чем наша земля, без этой науки мысль человеческая быстро придет в бесплодных спорах о мнениях (а все мнение, кроме математики) к скепсису, сомнению во всем, затем к отчаянию, погашению. Мысль угаснет на земле без знания о небе, а за мыслью угаснет сама жизнь.

И вы, благодетели человечества, должны стоять за это вечное знамя, за это единственное доказательство величия духа, за астрономию, и найти 18 миллионов и построить обсерваторию на уральских горах, для прославления России.

**Сумкин.** Вы специалист и человек идей, вы очень по своему убедительны. Я же человек земной и рассуждаю по земному. 18 миллионов! Ведь на эти деньги сколько можно фабрик построить, сколько рабочих тут будет

кормиться. Разве можно деньги и труд бросать на роскошь, когда мы так бедны и такая нищета кругом.

**Феофил.** Обсерваторию будут строить тоже рабочие, результатами наблюдений воспользуется так же рабочий. Простой человек! Да он больше всего нуждается в возвышенном, вдохновении и науке. Времена праздности и аристократизма канули в лету!

**Сумкин** (*кротко улыбаясь*). Наконец, если я возьму себя. Имею ли я право взять для оборота весь свой капитал, которым кормится столько народу? Да и что скажут родные? Они заключат меня в сумасшедший дом.

**Феофил.** Этого не бойтесь. Великих считали сумасшедшими, да и сами нередко сходили с ума они. Это не причина препятствий. Награда нас великая ждет — память потомства. Наши тела будут похоронены под трубами на высокой горе, души будут мирно спать до будущего воскресения.

**Сумкин** (*смеясь*). Ну не знаю, как для вас, а для меня быть похороненным на горе — не велика награда, лучше уж на кладбище среди предков.



**Феофил.** Удивляюсь людям. Охота им свою вечную постель готовить в скученных местах, часто в сырых под тяжелыми камнями и бессмысленными оградами, с глупейшими надписями. В лесу дремучем, в синем океане, на горах высоких приятно спать в ожидании, когда на новой планете воскреснем мы.

**Сумкин.** Во всяком случае ваше предложение так необычно, что я ничего не могу сказать решительного, не переговорив с родственниками и компаньонами, не рассмотрев вашей сметы, гарантий, что будет нечто путное из этого. Вы приезжайте ко мне через месяц с подробными данными, с картами и планами местности, с проектами, с моделями труб и с прејскурантами и с доказательствами, что вы (извините за откровенность) не авантюрист.

**Феофил.** Все это очень хорошо. Я математик и люблю точность и уважаю в вас желание пережить сначала все в уме, а потом перевести в действительность.

**Сумкин.** До свидания.

**Феофил.** До скорого свидания.

(Уходят).

## Действие III

### Явление I

**(Н**а Урале обсерватория. Купол закрыт. Трубы гиганты стоят кругом на подставках, в окно и в открытые двери видать ближние и дальние горы, освященные электрическим факелом. Входят Доротея и Ершов, земляк Феофила, он в малице и в ушане).

**Доротея.** Вот посмотрите трубы, только не касайтесь их.

**Ершов.** Какой ужасной величины. Сколь денег поди они стоят.

**Доротея.** Да. Вот ваш земляк чем занялся.

**Ершов.** Да, дело серьезное, смотреть на небо и приятное, только я думаю страшно это.

**Доротея.** Да, без привычки.

**Ершов** (ходит между трубами). Да. Ума палата у Феофила... О если бы такой человек взялся за дела народа. Наш север беден, несмотря на большие леса... Кругом же неправда и хищение, собственно я и прибыл, поговорить кое о чем с ним, не знаю, как начать.

**Доротея.** В эти дни нельзя. Он ужасно занят, ни днем, ни ночью не спит...

**Ершов.** Да, дорогое занятие это. Как его здоровье-то?

**Доротея.** Ничего. Впрочем он ни на что не глядит. Для него земное менее значительно, чем самая слабая звезда. Да и земля, говорит, звезда. На звезде, говорит, живем.

**Ершов.** На звезде живем! диво, а как много неправды и хищения на этой звезде, интересно как на других звездах.

**Доротея** (*шопотом*). Идет, пойдете.  
(*Уходят в передние двери*).

## Явление II

(*В боковыя двери входит Феофил. Он в зачъей шапке и в куньей шубе. Он очень похудел и побледнел*).

**Феофил.** Сегодня должна разрешиться моя судьба и задача всей моей жизни. Небо должно дать ответ на мой вопрос, на все мои долгие длинные вычисления. А ты моя сопутница долгих ночей, твой глаз сейчас или даст мне жизнь, или вечный покой и забвение... (*целует трубу*). О! как бьется сердце? Подожди, сердце не прекращай в эту минуту своей деятельности, она самая драгоценная в моей жизни, для нее я родился...

9 час. 30 мин. Широта 5°, долгота 190°. Со-  
всем руки не движутся, что со мной? О-  
немогшая плоть, не покидай меня... Да, да,  
вот в сию минуту она будет в моей трубе, ве-  
личайшая планета... Я назову ее, если не об-  
манывают меня вычисления на основании  
кометных движений, назову ее Фемидой —  
ибо только это справедливо, что на севере от-  
крывают ее...

Сейчас, сейчас, вот еще две секунды...

О как боюсь. Но пусть умру! (*Смотрит в  
трубу*).

Она! Я открыл (*падает в обморок*).

*Через некоторое время просыпается и  
пьет какую-то жидкость.*

Я открыл ее (*становится на колени*).

Бесконечно-великий Старик!

Благодарю, благодарю Тебя...

Иду, иду в лоно твое... Еще немного...

И ты, немая свидетельница моего беско-  
нечного восторга (*обнимает трубу и падает  
снова в обморок*).

### **Явление III**

(*Входят Доротея и Сумкин*).

**Доротея.** Уже 3 секунды прошло после на-

значенного времени... О что это? Не умер ли он? *(бросается к Феофилу)*.

**Сумкин** *(тоже бежит)*. Что с тобой?

**Феофил** *(приходя в себя и слабым голосом)*. Друзья мои, идите сюда. *(Обнимает обоих)*. Милые! Я открыл ее.

**Доротея**. О дорогой!

**Сумкин**. О радость, увенчаны труды и бессмертны наши начинания.

**Феофил**. Да. Вот она тут, кажется звездой 13 величины. Она планета за Нептуном, я назвал ее Фемидой, теперь мы можем умереть с тобой, Иван Яковлевич *(снова обнимаются)*.

**Доротея**. Но ты очень бледен. Феофил, нужно отдохнуть. Ты три ночи не спал.

**Феофил**. Дайте телеграммы во все обсерватории мира, что открыта планета. Крылатая мысль пусть пролетит весь шар земной и вдохновит людей на новые подвиги.

**Сумкин**. Я сейчас распоряжусь.

## **Явление IV**

*(Входят Василий и Елена)*.

**Оба**. Папочка, ты новую звезду нашел!

**Феофил**. Да, милые дети мои *(целует их)*. Василий, ты продолжай мое дело...

**Василий.** Я буду искать новую звезду.

**Елена.** Я буду помогать тебе... (*Уходят*).

## **Действие IV**

**(Т**а же обсерватория. Дверь открыта, видна остроконечная гора).

### **Явление I**

**Феофил** (*сидит около стола, недалеко от труб, что-то пишет, потом поднимает голову и глядит на трубы*). Прошел год, как я стал великим ученым. Большую планету открыл я за Нептуном. Но чем далее, тем радость моя остывает. Бог, живущий в моей груди, требует новых подвигов от меня. Всю жизнь ему служу, испепелил плоть свою... Но дух не умолкает и горит моя душа!

Огонь все вверх стремится и не дает покою другим стихиям. Душа — движение атомов огня, говорит Демокрит. В царство идей стремится ум, а воля жаждет великой деятельности.

И вот я новое затеял нечто, но сначала спрошу, что думает об этом Дух, живущий там за звездами. Пойду, поднимусь на ту гору, и что скажет мне гений мира, какими путями приблизиться к нему (*уходит*).

## Явление II

(Доротея, Сумкин, Ершов, Елена входят в обсерваторию).

**Доротея** (к Сумкину). Что-то он опять задумал.

**Сумкин.** Ничего... Пусть помолится вон на той горе, может душа и успокоится его... Смотрите, он поднимается.

Доротея. Ах, чтобы он не упал.

**Сумкин.** Василий за ним поднимается.

Вот, вот он уже миновал скользкое место. Смотрите, он присел к священному камню... Видите, он молится... Даже голос его слышен, сейчас воздух тих.

(Голос Феофила).

— Сам знаешь! Кончились мои дни или еще посылаешь меня на новые подвиги? Сам скажи, каким путем ближе всего к Тебе, ты — цель моих стремлений и украшение моих помыслов!

**Сумкин.** Вот он опять припал к камню...

Вот уже спускается... Что с ним, что с ним? падает....

**Доротея.** О Боже! (падает в обморок).

**Елена** (бросается к матери). Мама! мама!

*Сумкин и Ершов несут Доротею...  
На сцене никого нет. На улице шум и сума-  
тоха.*

### **Явление III**

*(Впопыхах входит на сцену Василий).*

**Василий.** Все кончено... Так Бог велел. *(Целует трубу).*

В торжественную минуту целую вас и даю клятву продолжать дело великого моего отца, мысль да не прекращается на земле... *(Обращаясь вперед).*

Идите, идите все! Кто как может, всеми путями взбирайтесь на гору исканий... Идите, ребенок вас зовет туда, к нему, он ушел, и нас зовет.

*(Занавес падает).*



## Венулитто



(Сказка)

I

**Н**а севере жил мудрец Шахмапутро. У него был сын Венулитто и дочь Лилианджаро.

Шахмапутро жил до глубокой старости в деревянном домике в дремучем лесу.

Балкон его был построен на сучьях сосен и елей, растущих около его дома. Сидя под сводом ветвей, старик любовался игрою белок над его головой у кудрявой верхушки сосны и слушал пение птиц, поющих утром рано и поздно вечером на заре заката. Елинка ударяла своими зелеными руками ему в окно и говорила: «шаушакша», пусти меня в комнату.

Высокая сосна, протянув свою сухую руку к слуховому окну, шептала — «Сассамана», все тайна в природе. Зеленые березы шеле-

стели о радости жизни «Шалихлили» как приятна юность. Мелкие кустарники, можжевельники и с алыми цветами шиповники вместе с цветами полевыми тихо, тихо, едва слышно говорили — «Калилихта», «Шахмакани» как приятны лучи солнца.

Шахмапутро жил среди природы, друг всех живущих, (прежде живших, и только теперь открывших глаза в лучах света).

\* \* \*

Когда сыну его было только три года, он сделал ему крылья из ивовых прутьев и из тонкой парусины и приказал ему упражняться в летании; потом он через каждые три года делал ему новые крылья больших и больших размеров. С каждым годом все выше и выше взлетывал Венулитто; дочь свою Лилианджаро научил Шахмапутро вышивать. Сначала она вышивала простые узоры, потом перешла к цветочкам и деревьям, затем стала такая мастерица, что вышивала фантастические города, людей, зверей со слов своего отца.

Уж очень много минуло лет Шахмапутро, давно он жил на земле и чаще и чаще стал за-

думываться р смерти.

Раз, гуляя в лесу, услышал он, как кто-то звал его. Три раза было произнесено его имя.

— Дети мои, это зовет меня умершая жена Каликандра. Она вас родила. Так сказал Путро.

Через несколько дней между деревьями увидал он человеческую фигуру. То был его двойник.

— Себя я видел, сказал Шахмапутро своим детям, мой образ стоял между деревьями и махал руками. Он манил меня куда-то.

Раз вечером, когда деревья шептались, а звезды пели тихие песни, старик пригласил к себе сына и дочь и, посадив их около себя на ковре под сводом ветвей, сказал:

«Я дал каждому из вас по ремеслу. Ты, Венулитто, умеешь летать, а ты, Лилианджаро, хорошо вышиваешь. Это и будет вам моим наследством. Трудami рук своих проживете на земле.

После моей смерти вы отправитесь в большие города. Круговорот жизни вас увлечет. Женщина поразит тебя своей красотой, Венулитто, а ты, Лилианджаро к мужчине притя-

нешься силою любви, матери жизни. Но вы удержитесь. Скорби здесь больше, чем счастья.

Не увлекайтесь ничем, ни пышной роскошью, ни красотой светлых городов, ни гордыми речами ученых мужей. Через некоторое время убедишься ты, и Венулитто, что люди не знают того, что самое главное, хотя очень много знают ненужного».

Старик на время остановился и перевел дыхание, потом, глядя в даль, продолжал:

— Венулитто, избегай человеческой славы, как гибели. Когда встретишь девушку, которая скажет: «если ты не хочешь меня сделать своей женой, то буду я тебе сестрой», возьми ее и возвращайся обратно сюда. (Тогда не узнаешь ты слабости тела, вечного зуда хотений, беспричинной грусти). Ты же, Лилианджаро, будь чиста, как утренняя роса (гляди на шиповник, как пленительны лепестки, но как остры ее колючки). Пока не встретишь человека, который скажет: «хочу быть твоим братом, а не мужем», до тех пор никого не делай отцом своих детей. Так живите.

Я скоро переменю вид свой, умру. Снесите

мое тело в глубокую пещеру, которую знаете, как пещеру тайн. Камнем завалите вход, дайте мне уснуть глубоко. Через три года ты, Венулитто, приходи, а через шесть ты, моя голубка, Лилианджаро. Узнаете вы свою и мою судьбу. Теперь идите, я вздремну.

Так говорил Шахмапутро, сосны тихо шептались с елями, давая смысл каждому его слову, а звезды тихо пели об иных странах, где жизнь богаче и и разнообразнее протекала в берегах материи, чем на земле.

Потом старик сложил руки на груди, закрыл глаза, и тихонько уснул... (Душа его глубоко ушла в себя и забыла земные картины).

Венулитто и Лилианджаро ушли с балкона, желая дать отдых отцу, который всегда спал под яркими звездами, думая о бесконечности.

На другой день вместе с солнцем встали они и пошли к отцу. Он лежал в том же положении и был совершенно холоден.

«Умер он», сказали Венулитто и Лилианджаро; взяли носилки они и снесли своего отца в пещеру тайн. Там положили в приготовленное место и затем вход в пещеру прикры-

ли огромным камнем, чтобы спал мирно мудрец Шахмапутро.

Через три дня и столько же ночей, исполняя, слова отца, Венулитто привязал огромные крылья к своим плечам.

Он посадил свою сестру в корзину из корней дерева, которую прикрепил к себе, высоко взвился в воздух и полетел в южном направлении навстречу ослепительно яркому солнцу.

Он так быстро летел, что вереницы птиц отставали от него, стремящиеся к южному морю, а белые облака плыли с ним рядом, обдавая свежестью и окропляя его небесной росой.

Много дней прошло, как летел Венулитто, много дней, хотя и еще больше осталось их в том безграничном мире, где жил сын Шахмапутра.

Наконец, белый город увидели они на горизонте, белый город, светлый и прозрачный, украшенный башнями, дворцами, садами.

В соседнем лесу, росшем полукругом около города, провели темную ночь дети Шахмапутро. С восходом солнца, любуясь великим его

кругом, Венулитто, сложивши свои крылья, вошел вместе с Лилианджаро в неизвестный город, поразивший их чудными сочетаниями линий и богатством красок. На домах Венулитто увидел всех старых богов и героев, о которых узнал он от своего отца.

Они поселились на краю города, в пустынной улице, у вдовы Медуэлла Наракотта ди ви Пола Марра Ракатукка Нардилла. Такое было длинное имя у этой бедной вдовы, в нем перечислялись все ее знаменитые предки до десятого колена.

Это было единственной гордостью бедной женщины.

Медуэлла Наракотта ди ви Пола Марра Ракатукка Нардилла была болтливая старуха. Она в первые же вечера, расспросив историю жизни своих молодых жильцов и оставшись ими довольна, рассказала им о знаменитых людях своего города, назвала имена князей, вельмож и богатых купцов. Особенно она распространялась, подняв свой тощий указательный палец многозначительно и шопотом об одном князе Томамузе, у которого была единственная, ученая дочь, гордая, недоступ-

ная, невинная, как рог луны в первые дни ее рождения. Она была бледнолицая и тонкая, как самое тонкое дерево их страны — Тиликатта — воплощенная красота. Имя ей было Вигари Ниенна Таригальди. Венулитто и Лианджаро с жадностью слушали бесконечные рассказы старухи.

Через несколько дней явился к ним племянник старухи Полисполо (Экуэлло), молодой человек с синими глазами и стал рассказывать о своих знакомствах со всеми учеными мужами города и о высоком мнении, какое составили эти последние о нем.

Сын Шахмапутро Венулитто, всегда молчавший, покинул тут свое обычное спокойствие и вступил в беседу с Полисполо Экуэлло.

— В бессмертие верите вы, спросил Венулитто.

Экуэлло с удивлением раскинул обе руки в пространство: и сказал: «наши ученые об этом ничего не знают, да и я об этом никогда не думаю»...

Венулитто вспомнил слова отца своего: «главного они не знают».



— А кому вы молитесь, продолжал он спрашивать.

— Творцу миров, ответил с улыбкой Экуэлло.

— Как же он сотворил мир?

— Этого ученые наши не знают, а религиозным сказаниям не верят...

— Какая жизнь самая справедливая, опять спросил сын Шахмапутро.

— Нравственная, ответил с улыбкой Экуэлло, на этот раз уже не скрывая, что он не уважает гостя своей тетки: у нас о нравственности так много написано (продолжал он, глядя на старуху Нардиллу), что все книги не поместятся в доме моей тетушки, но жизнь основана на силе. Вот послушайте рассказы Нардиллы...

Сказавши это, он сел к окну, показывая вид, что разговор собеседника ему надоел.

— О мудрый отец мой, думал сын Шахмапутро. Между этими людьми не буду я жить.

— А летать вы умеете? еще спросил он Экуэлло.

— Нет, ответил тот отрывисто: мы подчинили все стихии — землю, воду, огонь, но воз-

дух не поддается нам.

— О мудрый отец! продолжал думать Венулитто, все, что уподобляется духу, не подвластно им.

После этого сын Шахмапутро взял за руки Полисполло и вывел его на крыльцо.

Надел на его глазах на свои плечи огромные из ивовых прутьев и парусины крылья и, взмахнувши ими, взвился в воздух. Экуэлло с раскрытым ртом глядел на летающего сына Шахмапутро.

## II

Слава разнеслась по городу о Венулитто. Власти потребовали, чтобы он показался на площади, «ибо наш народ жаждет зрелищ».

Сын Шахмапутро согласился. Экуэлло взялся собирать деньги за представление.

Назначен был день. Солнце вошло над светлым городом и тихо поднималось, рассматривая дела земные. К полудню высыпал народ из домов и собрался на городской площади. Бедные и богатые, скучающие и обремененные работой, щеголи и рабы, здоровые и больные, ипохондрики всех родов, ученые и невежды, политиканы и те, у которых «изба

с краю» — все собрались посмотреть на невиданное зрелище. Венулитто, Лилианджаро и Полисполло Экуэлло стояли на платформе посреди площади, покрытой народом. Окна в домах везде были открыты, в них виднелись человеческие лица, старые и малые, красивые и безобразные, балконы и крыши домов были унизаны народом. На балконе одного дома, украшенного богами и дьяволами всех веков, сидела гордая Вигари Ниенна Таригальди. В дальнотрубную трубу смотрела она на представление, она глазами искала героя дня.

Венулитто тихо плакал про себя; ему жалко было людей. Как они бедны, им ничего недоступно из высокого, если пришли посмотреть на простого человека, сына Шахмапутро.

Лилианджаро была в ужасе и прижималась к брату: она никогда не была в такой огромной толпе. Эскуэлло налаживал ящик для сбора денег.

Дан был сигнал и Венулитто, надевши среди удивленной толпы огромные крылья на свои плечи, при мертвом молчании окружаю-

щих взмахнул ими в голубом воздухе.

И он сразу оказался в нескольких саженьях над толпой, так что все его увидали, как будто огромного орла с трехсаженными крыльями. Крик и одобрения наполнили площадь, а Венулитто быстро поднимался, кружась над городом, он почти без движения держался, раскинув крылья и кругами, как ястреб, быстро поднимался к голубой крыше неба.

Вигари Ниенна Таригальди в бинокль видела его лицо. Оно было серьезное, бледное, даже грустное. Это ее удивило и поразило, неизвестно почему ее сердце впервые заволновалось при виде неизвестного человека.

Три раза исчезал сын Шахмапутро в синеве небес и три раза опускался так низко, что касался своими крыльями голов народа.

Потом движением написал на небе: «дух мира научил меня этому искусству, Его всюду ищите», и при криках толпы спустился на платформу.

\* \* \*

Слава возрастала у сына Шахмапутро, комнату его наполнили посетители, не было конца вопросам о его жизни и происхождении.

Через несколько дней Венулитто увидел в своей квартире человека с золотыми галунами, низко кланяющегося. В руке он держал письмо от гордой Вигари Ниенны, и та приглашала его в гости.

В одежде земледельца и пеший, с посохом в руке отправился тот к дворцу князя Томамузы, и медленно поднялся по мраморным ступеням в обширные покои отца ученой девы.

В одной из бесчисленных комнат встретила его сама Ниенна. Бросились в глаза Венулитто ее белые волосы, голубые глаза, стройность и тонкость стана. Она стояла прямо и глядела гордо.

Сын Шахмапутро поклонился ей; она указала ему место на высоком кресле и сама села против него.

— Я уже с вами знакома. Вы простой человек и разрешили задачу, которая была не по силам мудрым и ученым мужам. Вы в один день стали знамениты, и я заинтересовалась вами, совершенно равнодушная ко всем людям. Кто вы такой, скажите мне.

— Тело мое взято из земли, а душа прилетела из другой планеты, ответил Венулитто...

— Ваш ответ не отличается ни ученостью, ни точностью. Душа и тело одно и то же, это уж нам известно... Лучше скажите, где вы родились?

— Там, где деревья шепчутся о тайнах мира, где ручьи поют радостные гимны Парабраме, где сладко бытие, и небытие не страшно, где небо ближе и земля прекрасней...

— Что вы поэт, это нравится мне, сказала Ниенна, гордо и величественно закинув голову и перебросив огромную косу с правого плеча на левое. Но откуда эти у вас Парабрамы и творцы миров?

Вы какой-то мистик. И что вы там чертили в воздухе? Кто вас учил этим вещам, давно забытым в нашей стране.

— Мне грустно здесь, между вами, ответил сын Шахмапутро... Души у вас нет, и нет стыда. Вы поедаете зверей, птиц и даже людей, такой дорогой ценой живете, и однако так все несчастны, никто из вас не думает, что после вас на земле будут другие существа, более совершенные, чем вы, и более скромные... Хотя впрочем и ваша душа имеет дивную судьбу, неведомую вам... Вы, любуясь природой, не

знаете ее помыслов, не знаете совсем души людей и животных, вы ниже браминов в знании духа...

Голубые глаза раскрылись у Вигари Ниенны. Они напомнили Венулитто утреннее небо его страны, так они были чисты, глубоки и неподвижны.

— Вы, философ, прошептала она после долгого молчания; у кого вы учились? Вы сын земледельца?

— Я сын Шахмапутро, один из бесчисленного множества сынов солнца и земли. Впрочем об этом когда-нибудь другой раз...

После долгого разговора, когда Венулитто уже уходил, красивая Вигари, приблизив к нему свое лицо, тихонько сказала: «вы можете поднять с собой на крыльях человека. Если можете, поднимите меня, я хочу полетать в синеве небес... только кроме меня никого не берите из здешних, я первая, я последняя...»

Заря догорала на западе и вечерняя звезда лила свои грустные лучи на землю, когда Венулитто с балкона князя Томамузы поднялся вместе с Ниенной изящной, как стройная Таликутта у берегов темных озер; она сидела в

корзине с закрытым глазами. Когда открыла их, увидела лицо сына Шахмапутро, чуть освещенное зарей заката...

Над его головой сияли звезды дракона; тогда испытала дочь Томамузы то чувство, которое не посещало еще ее молодое сердце.

### III

Дни уходили за днями. Никого не удивляла таинственная смена дня и ночи, чудесная закономерность природы: все были заняты своими малыми делами. Зима приближалась. Шестигранные, сверкающие на солнце, снежинки падали с облаков на замерзшую грудь земли. Ночи стали темны и долги и богаты яркими звездами.

В один из вечеров, глядя на звезды, высоко летал Вenuлитто и искал ту звезду, куда ушла душа его отца. Сердце его дрожало, он чувствовал дорогой образ, носящийся где-то далеко в эфире. Наконец, душа его устала и он спустился на балкон Ниенны Вигари...

В это время в доме Томамузы было большое собрание. Туда пришли ученые знаменитости города по приглашению Ниенны, которая обещала устроить диспут Вenuлитто с фи-



лософами страны...

Вся румяная, блестящая молодостью и красотой, встретила она сына Шахмапутро и ввела в ученое собрание.

— Вот тот человек, которого мировоззрение меня смущает и я бы желала, чтобы кто-нибудь обменялся мыслями с ним. После того взяла она за руки Вenuлитто и посадила посреди комнаты против мудрых мужей.

Седой старик, изучивший все науки и философию, стал предлагать вопросы Вenuлитто, он скромно отвечал на эти вопросы.

— Вы говорят часто говорите о душе, сказал старик Буаголо.

— Да. Я был воспитан моим отцом и великой природой более на знании внутреннего, чем внешнего. Отец мне объяснял, природа мне внушала. Глубокое равнодушие к духу в здешних жителях удручает меня.

— Что вы наз. духом, сказал Буаголо.

Наступило мертвое молчание. Все ждали ответа Вenuлитто, а он сидел, потупив глаза и смотря в какую-то далекую точку. Ниенна Вигари побледнела, боясь за него, хотя пригласила его для его же славы.

Наконец, подняв глаза на Буаголо, сын Шахмапутро сказал:

— Дух есть то, для кого нет ни пространства, ни времени, ни материи он видит через эти три покрывала жизни... Поэтому позвольте мне рассказать ваше прошедшее, ваше будущее и все то, что далеко от вас и заслонено материей, пространством и временем.

Старик согласился. Вenuлитто долго на него глядел; потом закрыл глаза.

— В моих глазах блестящий круг, и вижу я в том круге белокурого мальчика, он упал и в судорогах, на него бежит медведь, но выстрел раздаётся, и падает зверь. Человек с рыжей бородой берет на руки мальчика.

После этих слов Вenuлитто открыл глаза и, посмотрев на старика, прибавил: «Это ваше прошедшее». Боаголо, возвысив голос, обратился к собранию и заявил: «он истину сказал, это событие из моего детства».

Все были глубоко удивлены. Румянец заиграл на лице Ниенны Вигари.

После этого вышел из толпы химик Гарри. «Я не верю никаким спиритам, и со мной не удавались никакие опыты», сказал он. Сын

Шахмапутро взял его за руки и сам закрыл глаза...

«Вижу голубой круг, произнес он, в том круге сидит молодая девушка и плачет около стола. Возле нее стоит молодой человек с револьвером в руке. Волосы у девушки русые, у молодого человека на лбу шрам»...

— Это мои, мои! вскричал Гарри, схватившись за голову.

Моя дочь в стране вечного лета, этот негодяй ее преследует.

Он встал в ужасе и пошел к дверям.

\* \* \*

«Итак для души нет времени и пространства. Она видит прошедшее и будущее, далекое и близкое», так говорил сын Шахмапутро.

— Скажите мне мое будущее, обратился Боаголо к нему. Последний встал и сел в угол и как бы глубоко задумался.

«Вижу я гроб, сказал он наконец, белокурая женщина лет 30 горько плачет и ломает руки у гроба. У ней на правой щеке родимое пятно»...

— Довольно, довольно, закричали все... Боаголо дурно... Ему умереть через два года.

Многие дамы вышли из зала. Ужас охватил всех, как электрическая искра.

— Это спирит, сильнейший из спиритов, кричали кругом.

Собрание было в смятении.

— Нет, говорил Венулитто, душа каждого нематериальна, и будущее уготовано ей, о де-ти культуры, капризные, изнеженные сыны, послушайте вы сына лесов...

Но никто не слушал его... Ниенна сидела в глубокой задумчивости. «Человек ли он?» думала она.

## IV

Наступила весна. Таинственные лучи солнца обратили кристаллы снега в прозрачные ручьи, синий лед на реках в тонкорунные облака. Дремучие леса сняли с себя белые покровы и зеленым плащом прикрылись под голубыми небесами...

Мелкие зародыши выросли в прекрасные цветы на зеленых лугах. Духи небесные — легкие птицы запели новые гимны, о жизни и о любви пели они, о том, что земля на небе, и небо на земле...

Никто этому не удивлялся из людей, кроме

Венулитто, который с благоговением смотрел на великие чудеса, которые совершались около его, в недрах матери-природы...

Гром раздался с густых и темных облаков, молния сверкнула поперек вселенной...

— Я слышу голос отца моего и источника жизни. Гром — это его голос, а молния — блистание его глаз, сказал Венулитто.....

— Ты физики не знаешь, ответила ему ученая Вигари Ниенна. Гром — это сотрясение эфира и воздуха, а вовсе не голос Бога.

— Верь мне, что эфир небесное тело Великого Духа, и гром сотрясение эфира — «то голос Его — призывный звук смертным»... Ах, как я люблю Его!..

— Ты мистик, но не человек науки, говорила дочь Томамузы: все же с каждым днем и меньше и меньше сержусь на тебя... Твой мистицизм не имеет злобы и зависти... Он глубок и ясен, как небесный свод...

— Ниенна! Я слышу голоса... Вот голос отца моего Шахмапутро... Он зовет меня на Север...

Ниенна побледнела...

— Венулитто, сказала она наконец. Сочти меня своей сестрой и возьми меня в те места,

где небо ближе, говоришь, к земле, и земля выше, в дремучие леса... Мне скучно, скучно здесь, материя меня, давит... Машина жизни.

\* \* \*

Великое солнце взошло и Венулитто взвился навстречу ему, утопая в золотых лучах зодиакального света.

Он летел и с ним в корзине гордая дочь Томамузы — Вигари Ниенна.

За ними летели тонкорунные облака, а ниже стаи журавлей с трубными звуками, их путь был в таинственный север, на лоно природы!

## V

Он летел, и дремучее становились дубравы, и реки шире и прозрачнее, звонче ручьи пели внизу, прохладнее были долины, угрюмее скалы, величавее лицо природы.

На пятый день, когда солнце уже закатывалось, прилетел Венулитто к жилищу Шамапутра. Оно было у подошвы высокого холма, откуда текли две речки в разные стороны. По краям были сосны, а внутри еловый лес. Свернул Венулитто свои широкие крылья, а Ниенна Вигари вышла из корзины. У порога

жилица увидали они бурого медведя. Тот стоял на задних лапах и головой качал. «Гуа-Гоа», произносил он.

— Здравствуй, Таракулитто, ответил ему сын Шамапутро...

Вошли они внутрь дома. На окнах прыгали белки дзили Джеликотта — по стенам лазили пестрые дятлы, у трубы на печке сидел старый филин — Гугуракка.

— Это все наши братья, говорил Венулитто и звери и птицы узнавали его, и ползали по нем, и садились ему на руки и на плечи.

— Дети мои, джили, джили... кроткие духи, воплощенные в материю...

Немного погодя Таракулитто, старый медведь, принес дров и затопил печку. Синий дым взвился к голубому небу.

Венулитто приготовил кушанья из разных трав.

— У нас кровь не льется, мы питаемся травой... Поживешь ты, Ниенна, и привыкнешь к нашей пище...

После обеда хозяин накормил своих братьев — зверей и птиц, и последние звуками песен наполнили его дом.

— В какой сказке я живу... Любовь и Воля, отличают его от наших людей, думала очарованная Вигари.

Великое солнце зашло, оно ушло за отдаленные горы...

— Теперь пойдём мы, сказал сын Шахмапутро, в пещеру тайн...

Они спустились с холма, перешли через речку по камням и поднялись на невысокую горку... Посреди нее была пещера. У самого входа выскочил им навстречу красно-бурый волк и оскалил зубы.

— Лику, лику Каракарыко! как поживаешь старик? и волк завилял хвостом и стал лизать платье Вигари Ниенны...

— Это твоя госпожа!

Венулитто снял камень, за которым лежало тело его отца Шахмапутро.

— Отец: я здесь и не один, со мною та, которая захотела быть моей сестрой...

Тогда раздался голос как бы из земли:

— Ты здесь, милый сын? Я ощущаю твое присутствие. Слушай же меня!

(Венулитто и Ниенна встали на колени).

— С иного мира говорю тебе через центр



земли. Свет сияет мне из-за облаков материи, свет Духа мира, тот Глаз, который глядит из-за Бесконечности... Огненный треугольник объемлет Его...

Милый сын! Приучайся к жизни высшей постоянно, непрерывно...

Душа важнее материи.

Тихое созерцание сказки бытия — пусть будет твоей радостью, иной не ищи.

Все остальное земное благо — лживо.

Солнце пройдет по эклиптике трижды столько раз, сколько недоступная для вас луна меняет свой рог золотой в продолжении каждого года, — столько лет проживешь, ты. Живи и тихо радуйся, что не безумен ты.

Пещись о сестре, вздохи ее доходят до меня... Да будет так...

И голос духа природы умолк...

Венулитто и Ниенна поклонились праху мудреца и, закрыв его камнем, вышли из пещеры...

Волк остался сторожить у его входа.

Когда они шли, дремучие сосны и острые елочки тихо шептались о неисчерпаемых тайнах природы и о том, что постигали они

прелести тихого созерцания сказки бытия...

\* \* \*

На другой день солнце взошло; «опять светло», сказал Венулитто.

«Жизнь — есть свет».

«Движение к Солнцу — Духа».

## Ей Морт Мили-Кили



**В** деревне «Кассамана» (что значит «край дремучего леса») жил Ей Морт Мили-Кили. Плохой он был работник и на смеху у всех. Пойдет ли жать летнею порою, жарко ему и поясница его болит. Выжнет два суслана, а со-седи уж по пяти.

По дороге поздно вечером смеются над ним. Косит ли на лугу, коса все в землю идет. Ей Морт как баба косит, говорят. Зима ли наступит, поедет на заре Мили-Кили за сеном. Наложит он свежее сено на дровни, и обратно едет (и песни поет). «Эй Ей Морт, погляди назад», кричат ему вслед...

Посмотрел — вся дорога устлана сеном, и

вместо воза домой привез охапку.

Отец его, разумный мужик Григорий, и говорит ему: «вот что Мили-Кили, из тебя крестьянина не будет, попробуй счастье в торговле. Вот тебе сто рублей. Купи товару и торгуй».

Отправился Ей-Морт Мили-Кили в город. Накупил вятских полушубков, валенок, кушаков красноборских, меховых шапок; и поехал в другой город на ярмарку. Торгует Мили-Кили... День был морозный и озяб он. Отвернулся Ей морт от товару и пьет себе горячий сбитень. В это время какой-то человек подошел к нему и надел его полушубок, валенки, шапку, опоясался кушаком разноцветным и, не заплатив денег задумавшемуся над сбитенем Мили-Кили, молча отошел от него.

Глядь Ей Морт на свой товар, уж украли у него полушубок, и шапку, и валенки, и кушак... Быстро погнался он за вором. Кричит (что есть сил): «держите, держите», а вор вперед бежит и тоже кричит: «держите, держите».

Не знает народ, кого держать.

Насилу догнал Ей Морт молодца. «Ты у ме-

ня шубу украл», говорит он...

А вор смеется, «язык без костей, ты скажешь, что я и шапку твою украл». «Да, да, шапка также моя, добрые люди». — Ты скажешь, что и валенки твои украл. «Да, да и валенки мои».

— Глядите, добрые люди, какой нахал, или он пьян, говорит укравший; а народ смеется.

Ничего не мог поделаться Ей Морт; пришел печальный домой. «Ну что, как торговал на ярмарке», спрашивает Григорий.

— Какая торговля на улице, отвечает Мили-Кили. Вот устрою лавку, тогда иное дело...

Построил Мили-Кили лавку из крепких бревен, нанял ученого медведя в приказчики. Медведь был очень разумен (кто продавал его, уж не нахвалился). Даже говорить умел, по крайней, мере, одно слово произносил: «ладно».

«Вместо приказчика и ночного сторожа держу я одного медведя. Это дешевле», думает Ей Морт.

Верно, ни один вор не смел теперь входить в лавку Мили-Кили, боясь Мишки. А медведь стоит у прилавка и торгует. Приходит покупа-

тель за красным товаром. «Сколько стоит этот платок, Михаил Степанович?»

— Ладно, отвечает медведь.

— Бери три копейки.

— Ладно.

Хоть воров не было, лавка быстро опустела у приказчика, ученого медведя. Сам хозяин Ей Морт по миру пошел.

Идет печальный Ей Морт, Мили-Кили, в лесную глушь. Идет без дороги, куда глаза глядят, перелезает через дубье-колодые. «В детстве слышал я, думает он, что в лесу де живет мудрая старуха. Научила бы она меня, как жить на свете. Больно тошно мне без разума, бесталанному».

Идет он через дебри густые, и чем дальше, тем темнее становилось в дубраве. Вдруг избушка показалась между деревьями.

Испугался Ей Морт, не знает, войти ли туда, или бежать назад.

Но в окно вещая старуха увидала его. «Иди, иди, Мили-Кили, давно жду тебя. По книгам было видно, что придешь ты».

Вошел через крыльцо в избушку Ей Морт, ищет глазами иконы в углу, но углы были пу-

стые.

— Садись, садись, говорит костлявая старуха. Знаю, зачем пришел. Не умеешь жить, таланта не имеешь. Вот садись сюда к столу. Да попей это питье (из разных трав составлено). Талант у тебя проснется.

Обрадовался Ей Морт, сел к дубовому столу и выпил сразу весь жбан какого-то очень горького напитка...

И тут же уснул глубоким сном.

Много дней и ночей он спал, пока мудрая Иома не разбудила его ударом клюки.

Проснулся Мили-Кили и ищет чего-то глазами. — «Знаю, знаю, говорит старуха. Ты ищешь трехструнной арфы... Вон она висит на гвозде, для тебя приготовлена бери ее и иди. Через три года ко мне понаведайся».

Идет Мили-Кили, озаренный блаженной улыбкой. Он играет на чудесной арфе. Птицы кружатся над ним, серые волки идут около него, кроткие, как ягнята. Ручей уменьшает свой звон, наслаждаясь музыкой Мили-Кили.

Деревья закачали своими вершинами, вспомнив лучезарные прежние сказания.

Один мудрец, ученик Пама Бурморта, жив-

ший в келье своей одиноко, услышав музыку Ей Морта, воскликнул:

«Ах, милый Чайбайабос, тебя вспомнил я опять!

Твоя музыка, как детские дни мои, улыбкой радости озарена!

В твоих песнях нежная страсть разлита, и мечта глубокая...

Они меня посещали в юные годы мои! Слушая звуки твои, чувствую неизъяснимые прелести теплой весны и знойного лета.

Лето знойное наступило в жизни моей, и плачу я о тебе, Чайбайабос, как о друге юности.

И вот теперь Мили-Кили разбудил спавший твой образ в сердце моем.

Пой дитя, пой золото! пусть ручей Лики-Лики дивится тебе и со вздохом просит музыки твоей! Пусть птицы плачут с тобою, и белка Шурушакша мечтает на ели».

Так говорил мудрец, ученик Пама Бурморта, сидя на пороге белой хижины своей и глазами провожая лесного музыканта...

Пришел Мили-Кили в свою деревню, в изорванной одежде и с арфою в руке. Засмеялись

все соседи, увидавши его. «Вон идет Ей Морт, что-то поймал он в лесу».

Но вот Мили-Кили заиграл тихие, грустные песни, и вытянулись лица у всех. Соседки руки приложили к щекам, а мужики повесили головы. Печальные думы посетили их о жизни и смерти, и о не сбывшихся надеждах.

— Полно тебе, Ей Морт; утешь нас, сказал старик Марко. Грустью наполнил ты нашу душу...

И заиграл Мили-Кили игриво-радостно. И заплясали дети, а за ними подростки и девы молодые, а затем молодухи и бородатые мужья... Седые старцы в пляс пустились, пока не прекратил своей игры Мили-Кили.

«У колдунов, видно, был он в лесу дремучем, у мудрецов Пама Бурморта, и научили его там чародейству», все так сказали до единого.

Славен стал Ей Морт. На вечерах платили ему деньги и на девичниках, и утешал он игрою великий север... Да плохо быть музыканту без разума.

Была девица в деревне Дав, Альтиари по прозванию... бледноликая, молчаливая, ди-



кая, как серна, глаза же у ней были голубые, в них отражались красоты природы. Волшебное царство, казалось, в них обитало и неизъяснимое наслаждение.

Полюбил Мили-Кили красивую Альтиари. Та же была своенравна и ревнива. И изорвала она две струны его арфы, чтобы не ходил он по вечерам, не глядел бы на других девушек, не любовался их красотой щек и стройностью стана. Несчастен стал с одной струной. Ей Морт. Обеднел он, и отец, мудрый Григорий, прогнал его из дому (со двора).

Пошел странствовать Мили-Кили по лесам, по горам, по малым деревушкам и по селам многолюдным; в березовых лаптях бродил он повсюду. Утомленный захаживал на ночлег туда, где семейства поменьше, часто ко вдовушкам попадал он, и те слушали его рассказы и брэнчание на одной струне. Когда же темнело в избушках, каждая из них говорила: «таперь Мили-Кили ищи ночлег в другом месте: мало ли что скажут злые языки, если у нас останешься».

Так несчастно странствовал бедный игрок великого севера.

Прошло три года. И отправился он в дремучий лес, к мудрой старушке.

Идет между таинственными соснами Мили-Кили, ищет домика лесной хозяйки. Вот огонек блеснул между ветвями. Та самая избушка... В окно видит, как старуха сидит и лучину поправляет. Входит Ей Морт.

Иома грозно на него взглянула... и сказала строгие слова.

«Ты невоздержан был и вот погиб. Талант без разума не полезен человеку. Завтра отправься ты к Пану, лесному богу, он тебе даст разум. Сегодня же ночуй, бедный человек».

Рано утром поднялся Мили-Кили на высокие пармы, чтобы найти Пана, бога лесов. Долго искал он его, пока не нашел в широких палатах в темной роще. На коврах сидел Пан, изнеженный бог светлой Эллады, который и на севере жил так же уютно, как и на юге.

Удивился Мили-Кили, глядя на его козьи ножки и рога на голове. Пан же улыбался. «Здравствуй, безумец севера. Я сделаю нечто и ты будешь мудрейший! Выпей этот старый напиток олимпийских богов, и будешь богат, и ничего от мира не пожелаешь».

И выпил Ей Морт напиток олимпийских богов. И пелена спала с глаз его, и увидал он все и на небе, и на земле. И перестал он желать чего-либо от мира, а сам же почувствовал к нему жалость...

— Иди ты на юг, сказал Пан, там целое царство уснуло от бессилия, скуки и машинности жизни; вдохни жизни ему. А дальше увидишь сам, что нужно делать.

Лесная старуха обрадовалась, увидавши ставшего вдохновенным Мили-Кили от напитка богов Эллады, и подарила ему новую арфу.

Оставил Мили-Кили лесные избушки, ставшие для него дорогими и отправился на юг для великих подвигов. Мысль была скована в пределах земли и небесного свода. Дальше не могла она подняться... и вот она погасла.

А за мыслью и сама жизнь прекратилась. Она замерла надолго. Окаменело целое царство. Большой город, прежде полный жизни и суеты, теперь представлял спящую громаду, как бы высеченную каким-то неизвестным ваятелем, из гранита и мрамора гигантскую

фигуру.

Мили-Кили прибыл сюда и дивовался диву. Идет по улице он, одетый в звериные шкуры, рано утром при синем свете. И видит — на скаку остановились кони, высоко подняв головы. Возничие на козлах, как статуи, сидели.

На улицах прохожие остановились в разных позах, застигнутые леденящим глубоким сном. Каменный, спящий город был перед ним.

Идет он, (Мили-Кили), глубоко задумавшись. Вот дворец, но жизни нет в нем. Привратники окаменели. Огни еще горели в окнах. Душа скорее засыпает, чем стихии мира. Входит Ей Морт в пустынные палаты.

Из зала в зал идет он, стуча тяжелыми ногами. Шаги далеко раздаются, но нет ответа им. Громко закашлялся Ей Морт. «Эй, кто там», звучно сказал он. Стены ответили: «эй кто там?» Нет никого, кто бы сам двигался, или имел бы желание. Ему страшно стало. Он почувствовал, что только одна сияет на небе звезда, кругом же черные пустоты, ни дна нет, ни стен нигде.

Приходит он в маленькую горенку. Там в кресле сидит молодая женщина. Она спала, но не дышала.

Румянца не было на щеках, волосы ее рассыпались по плечам. Она одета была в дорогие ткани, и утопала в кружевах и лентах. То кругами, то спиралью, то пышными волнами обхватывала ее пурпурная мантия. Перед ней было огромное зеркало. Но глаза, закрытые длинными ресницами, не любовались чарующей красотой. Долго смотрел Мили-Кили на деву. «Уже заря восходит, думал он, скоро, и солнце взойдет. Зачем так долго спать?» И тихо заиграл он на волшебной арфе.

И видит он, губы девы вздрогнули, румянец показался на щеках, и медленно она поднимала отяжелевшие веки.

— Кто здесь, сказала она. Чьи звуки я слышу, которые проникают в мое сердце (и согревают охладевшую мою кровь).

И посмотрела она и увидела пред собою Мили-Кили, который задумчиво играл недалеко от нее. Лохматый вид его и звериные шкуры, которыми был одет тот, напугали ее.

— Не бойся меня, сказал Ей Морт. Я один

из смертных, которому лесная старуха подарила чудесную арфу. Вот я разбудил тебя этими звуками и весь город ваш великий вскоре проснется.

Вставай. Заря уже высоко поднялась. Я Мили-Кили. Кровь же остыла в ваших жилах, потому что забыли вы созвездия мира, красоту полей, и тени лесные. Иди, одевшись в теплую одежду, потому что холод объемлет ваш город, иди, разбудим его!

Была послушна дева, ибо разум имела большой, оделась в дорогие меха и пошла за Мили-Кили.

Идут они по улице. Заря широко крылья распахнула над окаменевшим городом. Утренний воздух был чист, и бодр, и живителен. И, жители неба, звезды сияли в вышине.

Остановились они у огромного дома из белого камня. Вошли по тяжелой лестнице в обширный зал. Большое собрание там было. Сидели седые старцы кругом стола, бородами застилая зеленый бархат его.

Пред каждым лежали толстые книги на разных языках, существующих и не существовавших никогда... Старцы спали, уснувши

над книгами, (ибо для мысли требуется бесконечный простор, книги же были, хоть объемны, но ограничены).

Мили-Кили стал играть тихую песню о своде небесном, как миры бороздят пространство по красивым удлинненным кругам, как спиралью вьются там тонкие первоматерии, как в туманных кольцах зажигаются новые звезды. Звуки наполнили зал.

И вот старцы медленно открывали глаза, ученые мужи просыпались и поглаживали бороды.

— Вставайте мужи, полноте вам дремать над фолиантами. Я Мили-Кили, певец и музыкант лесов.

Тогда один из ученых мужей обратился к нему с гневом:

— Ты Мили-Кили, докажи нам это. На каком языке ты говоришь, и какие диалекты у вас.

Другой прервал первого и сказал:

— Ты как сюда попал, в общество избранных перстом судьбы, не сдавши экзамена по языкам, на которых говорили в древности, или вовсе никто и никогда не говорил.

Третий, маститый старец, прибавил: «Своим появлением и делами нарушаешь ты логическую связь наших мыслей. Ты не должен существовать. Мы уже сковали цепь понятий и охватили мир, и тебя не было там, в звенья этой цепи мы сковали мир, и он уснул, но лучше спящая логика, чем разрозненные дела жизни».

Мили-Кили улыбался; просвещенный Паном, богом лесным, он все понимал.

«Перестаньте мужи, он сказал, не мир (он жив!), а себя сковали вы, заморозив свой малый мозг. Остудили кровь свою в сердце. Проснитесь и подышите утренним воздухом, взгляните на небо, как дети, идите в леса и поля, забудьте, что мудрецы вы, ибо вы безумнейшие из живущих на этой земле».

При этих словах поднялся гвалт. Ученые зашумели. Когда они умолкли, Мили-Кили, взявши за руки свою спутницу Гариенну, вышел из зала. Когда он выходил между столами, старцы молчали, и стук его шагов долго раздавался...

Когда же он исчез, мудрецы заговорили снова: прения возникли о том, возможно ли



логически или невозможно происшедшее событие.

Мили-Кили и Гариенна шли по улицам.

При приближении звуков его арфы пробуждались люди и кони. Оживлялся город. Между тем великое солнце восходило и пурпуром покрывало крыши домов. Суета просыпалась повсюду. Все побежали с того места, где их зловещий, роковой сон захватил; к тем же целям устремились они, к чему и раньше стремились... Спешили ужасно все, не глядя друг на друга; они были подобны сумасшедшим.

Никого ничто не занимало, кроме одних и тех собственных дум, которые гнездились в извилинах мозга.

— Гляди, гляди, Гариенна, как эгоистичны они, говорил Мили-Кили. Один на другого не смотрят, толкают друг друга и ругаются...

Напрасно, может быть, вернул я к жизни музыкой звуков, данной мне хозяйкой леса, мудрой Киликандрой? Не уйти ли нам отсюда, от этих, холодных, узких, запертых в себе, недоступных для лучей любви, людей, которые опять заморозят друг друга в скором вре-

мени.

— Подождем два дня. Королевский бал состоится сегодня или завтра вечером... Мы так ждали его. Там будут иностранные принцы, говорила Гариенна...

— Нет, краса великого города, подальше от принцев и всех прочих земных божков должен держаться безумный Мили-Кили, наивный игрок на арфе. Прощай, мы люди разные и пойдем в разные стороны. Конечно, твои голубые глаза останутся в моем сердце...

И быстро рванулся Мили-Кили к окраине города и, о многом размышляя, прошел, он мимо башен городских ворот.

На перекрестке дорог остановился он и поклонился великому Северу. Вспомнил он ту избушку, где родился, откуда любовался еловыми лесами и отдаленными холмами, на которых красовались зеленые озими, где ярче ему сияли небесные звезды. Затем направился к южному морю; прибыл на высокий берег, где росли тенистые акации и кудрявые ореховые деревья, и изумленным взором осмотрел широкое море... Оно лежало пред ним, отдаленным, синим полукругом.

Три дня он здесь играл и три ночи, думая о жизни земной, и о далеких путях своих, по которым он шел. Море выше и выше поднимало свои волны, наслаждаясь его музыкой...

Наконец, человеческой речью оно проведилось: «Мили-Кили, тесно в моих земных границах и душа моя стремится в далекие небесные пространства, туда, где кометы и ключья туманной первоматерии блуждают по небесным полям: тяжело дышит грудь моя от земных страданий и тесноты».

Ветры ударили в струны Мили-Кили и сказали: «мы разбежались, чтоб высоко, высоко взлететь над долью земною; наскучило нам кружиться здесь внизу, бороздя пески и моря. Хотим устремиться к одной точке мира».

А Мили-Кили все вдохновеннее и вдохновеннее играл. Волосы его развевались ветром на берегу вечно шумящего моря. А он боже-ственно, безумно играл, неустанно, непрерывно.

Наконец, Эол, отец ветров, поднял на крыльях его и унес в мировое пространство из земной тесноты.

\* \* \*

В тихий вечер, на заре, в дремучем лесу или на берегу моря слышны тихие божественные звуки арфы Мили-Кили. Он там в эфире играет, оглашая горницу Вселенной бесконечно-сладкими звуками.

Мили-Кили, Мили-Кили!

## Звуки природы



Сидел я у широкого моря. Синие сумерки Сутра покрывали влажную землю. Тихая музыка раздавалась в недвижимом воздухе. Кто-то на нежной флейте играл священный гимн светлой природе; тысячами листьев зеленая роща шелестела в голубой дали.

Море издавало задумчивые звуки, ударяя в берег синими волнами. Огромное солнце взошло из-под далекого моря... и зажглося красным кругом над водной гладью. К звукам флейты присоединились трубные звуки и громче заиграли воздушные хоры.

Соборы птиц запели на тенистых ветвях, качаясь в дубраве и с лепетом волн их звуки

слились... Легкий ветер подул с влажного моря и сильнее зашумели прибрежные ивы.

С востока в белых одеяньях духи летели по воздушной зыби и шум их крыльев был ясно слышен чутким ухом.

Это они, небожители, утреннюю песню пели и наполнили гармонией и леса и пустыни. Вот вижу я их в тонких очертаньях облаков, несущихся на белых крыльях с румяного востока. То были древние боги, прежние властители земли...

Вон Индра, Шива и Брахма, и сам Ману — родоначальник смертных и бессмертных... за ними боги Эллады... гордого Рима, и боги всех прочих народов...

— До сих пор вы живете, старые боги и, одетые, в облака летаете над землей...

— Мы бессмертны, сказали они, и долго еще, когда уже людей на земле не будет, будем носиться и в тонких облаках, и в темных тучах над пустынной землей... Так они сказали и исчезли на западе в синей глубине высокого воздуха.

Яркое солнце выше и выше поднималось, живительным светом заливая и море и зем-

лю... Четвероногие жители дремучего леса проснулись и побежали к сладкому потоку, к зеркальным струям быстротекущего ручья; они низкими звуками наполнили темные дебри...

Невидимый оркестр где-то в вышине заиграл. Я оглянулся и увидел трубных музыкантов синего воздуха. Гагары с пеньем куда-то летели, махая крылами, а над ними в лазури небес журавли и лебеди длинными стаями тянулись с далекого острова в песчаные степи обширной страны. Звуки двигались по небу и в отдалении тихо замирали.

— Какая обида богам, подумал я, за ними длинноклювые гагары летят по зыби воздушной.

Но издали гагары мне ответили.

— Не менее почтенны мы, чем ваши боги, мы древнее их и человеческого рода, и, наверное, переживем и тех и других.

Звуки умолкли. Но не надолго.

Вдруг призывной удар к новому хору раздался. Чайки первые засуетились и визгом огласили берег. За ними стрижи и ласточки, откуда-то коршуны появились и с вышины

спускались вниз. Сильнее зашумели деревья. Резкий ветер свистал между ними.

Волны побежали издалека к берегу, как львы, зелеными гривами потрясая. Вопли их доходили до меня с отдаленной полуокруженной зыби водной равнины.

Новый удар барабана и начало торжественной музыки. Посмотрел я на запад. Солнце закрыло свое лицо. Темные тучи поднимались с окраин мира и дальние раскаты грома наполняли за тучами лежащее небо. Желтая молния сверкнула. Знак был дан невидимым корифеем природы бешеной пляске.

Вихрь поднялся и с шумом пролетел мимо меня. Темные духи вышли из тартара. Между ними узнал я страшного Аида, мрачную Персефону и грозных титанов... В медные трубы, равные огромным тучам, ударили они в неистовом порыве вдохновения, и вода, и пыль, и песок, и облака закружились в пляске в честь Диониса.

Звуки, полные гнева, неутоленной страсти, вечно терзающей сердце, потрясали воздух.

Быстрее и быстрее кружились береговые пески, поднятые вихрем. Пришли голодные гарпии и высосали влагу из ключей и мелких ручьев. Волны моря хлынули на белые длинные отмели, где фурии всех веков начали бешеный сладострастный танец.

Вышел из бури великан в зеленой шапке и стал со свистом вырывать с корнем деревья, и бросал их одно на другое, как бы костер огромный созидал для пожара земли...

Он зашагал по лесу и громко смеялся над кем-то, вторя мятежной музыке смерчи. Но вот страшный удар раздался. Он упал с облаков на грудь земную и тяжкий стон вырвался из сердца земли и высокие горы зашатались. Светлые и темные стихии — титаны вступили в битву с богами и началась ужасающая борьба...

Все потемнело. Песок, вода, пыль, облака, застилали море и землю.

Молниеносные стрелы сыпались из середины туч, и вдруг хохот поднялся во вселенной... и внутренность матери-земли захохотала, как эхо, от горя и печали, и потемнел рассудок жизненных сил мира...



Но вдруг... Лопнули трубы у демонов и сами черные существа провалились в дальние бездны... Борющиеся титаны удалялись и слабели неистовые звуки и вопли скорби.

Сильный ветер разогнал севшие на землю темные тучи; море, сильно разъяренное борьбой, стало успокаиваться, и гневный Посейдон, потрясая трезубцем, удалялся в страну заката, где живут черные сыны пустынь.

Заходящее солнце снова взглянуло на землю и мир снова покрылся синевою неба и моря...

Вновь раздались тихие божественные звуки в вышине... И кроткий вечер настал... Румяная заря на огненных крыльях прилетела с горного эфира и пурпуром окрасила водную гладь. Волны нежно запели о жизни в Эдеме, о счастье первых, невинных людей, не знавших добра и зла... Им вторили райские птицы тропических лесов. Невидимая рука зажгла огоньки на небе, звезды в синей вышине.

Первая пролила свои вечерние лучи вечерняя заря, глубокие мечты возбуждая в душе... За нею вместе с вечерней звездой (богиней любви) Вега засияла, потом уже Арктур и Ка-

пелла и все невидимые их братья, дети пространства, и над звездами услышал я, как херувимы запели о жизни надзвездной...

Так звуки менялись в природе, отражаясь в моем сердце, в сердце странника мира.

## Самоед Неве-Хеге



Светлое солнце долго сияло над землею. Жизнь цвела в ее лучах. Сменялись поколения за поколениями зверей, людей и птиц. Седая старость, дочь бесконечности, летела из бездны к матерому, царственному сыну природы — к яркому солнцу. Прилетела и прикрыла своими черными крылами светлый лик любвеобильные денницы. Солнце потемнело. Из золотисто-желтого оно стало темно-красным.

Быстро угасала жизнь на замерзшей земле. Погибли сильные народы с их высокой культурой, Остались только полярные племена, да и те быстро вымирали при скудости пищи, ибо зверей и птиц не стало, а реки были подо

льдом.

В эти последние века с полюса придвинулись к экватору полярные, низкорослые люди, с юга и с севера. В это-то время и жил самоед Уэсако, со своей женой Хеге-Сай и с сыном Неве-Хеге. Одетый в малицу и в пимы и с луком в руке, охотничал Уэсако со своим сыном на белых медведей. Но с каждым днем жизнь его скуднее становилась.

И в пупе земли, у самого экватора было так холодно, что белые медведи быстро умирали за неимением пищи, а вместо рек везде образовались ледяные ложбины. Отец и сын охотничали по ледяным горам и равнинам, кликая друг друга. Одинокие голоса их далеко, далеко раздавались в недвижимом воздухе и уныло оглашали опустевшую горницу природы.

Постарела Хеге-Сай и скончалась старуха в ледяной избушке на оленьих шкурах. Ослабел и хозяин Уэсако и, пригласив к себе сына, ему сказал:

«Последние дни я живу на земле, сын мой, на то воля великого Бога Нума.

Ты сам все знаешь; знаешь, что жизнь бы-

ла великая на земле при лучезарном солнце; так предки нам сказывали. Сильные народы жили везде, мы же низкорослые и убогие бродили по тундрам на севере далеком.

Угодно было Нуму остудить землю. Солнце пурпуром покрылось и пятнами, как гвоздями, по Его воле.

Наши предки пошли на юг, и везде встретили разрушенные города и замерзших людей.

Предание гласит, так длились века, пока наши не прибыли в эти места. Но холоднее все становилось, и юг остыл, пали олени, малица не стала греть нас, ни широкие пимы... Один за другим умирали наши... Ты и я — последние мы люди. Мы, кроткие и слабые, по воле Нума, последними сойдем в ледяную могилу. Белых медведей уже нет. Но запасы имеются для тебя в снегу, я приготовил, на несколько лет тебе хватит... Вот у чума моего имеется еще полсотня собак, возьми их, ездь и живи. Живи, молясь о замерзшем племени твоём. Насыти последнюю жажду земной жизни; а дальше что, за могилой узнаем мы. Мою же душу уже манят те отдаленные звез-

ды, которые ярко сияют на потемневшем, черном, холодном небе.

У снежной горы из камня оббили твои предки Бога Нума Илеумбарте. Молись этому каменному, холодному Богу, в замерзшем сердце его еще дух обитает. Живи же до конца и потом за мной иди в те светлые пространства, что видишь ты над собою, над погибшим миром. Иссякло все и чувствую кровь остывает моя»... Так старик сказал и закрыл глаза. Неве-Хеге прикрыл его оленьими шкурами, оставил при нем лук и стрелы, одну собаку, которая тихонько умирала возле своего хозяина, положивши свою морду на холодный труп его.

Он вышел из ледяного чума и закрыл выход куском льда, как гранитом.

Вышел он, видит, темно-багровое солнце, как раз, шло над его головою. Он долго смотрел на его медно-красный круг, не имеющий уже блеска, и ему, Неве-Хеге, почудилось, что на него глядит умирающий Бог неба одним, помертвелым, незакрывшимся глазом, и грусть наполнила его душу. Тогда запряг он тридцать собак и отправился на восток на ты-

сячу верст.

У ледяных равнин (бывших морями) увидел он какие-то снежные дворцы и странные машины, значение которых он не понимал. Как будто в землю уходили какие-то колонны и трубы.

«Неужели из сердца земли они огонь добывали?»

Вернулся он на прежнее место, и на север направил путь на собаках по снежным сугробам. Небо было чисто и звезды блистали в красивых созвездиях. Орион был прекрасен и таинственен, как прежде, и Вега по-прежнему белизной темное небо украшала, но Арктур и Капелла, а Центавра и Альдебаран навсегда погасли, во многих же местах небесного пространства новые звезды засияли. «Угольные мешки» в млечном пути расширились и эти черные пустоты пугали последнего человека. Они казались какими-то чудовищами, хотящими пожрать звездное небо. Одетый в тройную оленью шкуру, на санках, с длинной палкой в руке едет Неве-Хеге, задумчивый и молчаливый, едет и видит опять какие-то огромные ледяные дома... И между ними две баш-

ни до облаков. К чему построены были башни, не знает он, может быть люди летали, как птицы, в те времена, как гласит предание.

«Страшно, страшно одному ходить по лицу земли... Звезды, возьмите меня к себе, одинок я здесь внизу среди ледяных могил».

Снова вернулся Неве-Хега к юрте своего отца. На запад направился он на своих собаках, и думает, глядя на темное солнце: «когда оно совсем погаснет, я останусь без огня». «Что мне делать?» На западе увидал он у высоких гор новые машины. Какая-то проволока была проведена вверх. «Неужели держали люди на привязи слегка багряную, полутемную луну?»

«Что такое все это, что делали прежние люди? Вот тут какая-то глубокая котловина с подземными ходами. Неужели в земле они жили для тепла? Не спуститься ли мне туда по этим ходам? Страшно. Страшно, страшно одному в снежных равнинах. Что я буду делать, когда упадут мои собаки?»

И Неве-Хеге целует своих собак, называя их ласковыми именами. «Вы последние друзья последнего человека!»

Снова вернулся он к юрте своего отца. По-

шел к каменному Богу и сказал ему: «Уэсако, ты имеешь вид человека, только ты великан, а я карлик. Вот руки у тебя, нос и глаза, освещенные тусклым, багряным солнцем. Скоро ли умру я? Что мне одному делать здесь? Перенеси меня туда на те светлые звезды?» И стал он целовать холодные пальцы на ногах у каменного бога. «Страшно, страшно, никто не дышит, кроме меня, теплым паром, собаки пали мои, они лежат уже на снегах».

И пеший направился он на юг.

Вот от шагает, упираясь на длинную палку, по ледяным полям; на ногах двойные пи-мы, на нем тройная малица, на голове олений ушан; на руках оленьи рукавицы... Санки тащит за собою с замерзшим медвежьим мясом. В лицо ему светит темно-пурпурное солнце и тусклыми лучами играет в иглах малицы. Идет он. Солнце зашло. Звезды показались. Последний сын земли.... От его дыхания облако пара поднимается. Идет и видит перед собою чужеземную ледяную юрту, а возле нее какую-то фигуру вроде человека.

Фигура была неподвижна. Она была в малице, в ушане и в пимах. Она издавала ка-



кие-то звуки на непонятном языке и знаки делала рукою. Ничего не понимает Неве-Хеге; он подошел близко к ней и подал кусок замерзшего мяса. Фигура взяла и съела.

Потом солнце взошло после темной долгой ночи и высоко поднялось.

Смотрит Неве-Хеге; фигура похожа на него. «Это не смерть ли моя, или орт, двойник человека?»

Глядит — широкие скулы под ушаном, узкие глаза: но черты лица как будто нежнее, и ростом ниже фигура... То была женщина из южно-полярных, погасших племен. Неве-Хеге поблагодарил каменного Бога и сказал ему, вставши на колени перед ним; «если женщину дал мне, то подожди отнимать жизнь, пусть огонь теплится еще в моей груди, помедли перевести меня на те звезды... Поживу, хоть сколько-нибудь на земле».

Живут они в ледяной юрте...

Знаками объясняются, то было последнее семейство, последняя любовь на земле. Имя было мужу Неве-Хеге, а жене Кугу-Ракша-Катти. (Когда на земле жили первые люди — было жаркое лето; последние жили в ужасную,

студеную зиму). Неве-Хеге и Кугу-Ракша-Катти бродили около юрты по ледяным полям и рассказывали, как могли, друг другу последние события в жизни их племени. По ночам искали они: глазами ту звезду, куда ушли их предки...

А солнце, темнея все более, ходило над ними, а луна уже совсем померкла, за то ярче сияли звезды.

«На какую звезду перейдет душа Неве-Хеге и Кугу-Ракша-Катти по воле хозяина, не без хозяина же этот ледяной мир существует?»...

На три ярко блистающие звезды решили они перейти, насладившись последней любовью.

Так, в надежде они глядят в даль на «трех волхвов» и на «посох Якова» и ждут Бога смерти...